Жан Бодрийяр
Прозрачность зла

Добросвет; 2000
ISBN 5-98227-169-1

Аннотация

Предлагаемая читателю книга представляет собой сборник эссе известного современного французского философа Жана Бодрийяра, объединенных в произведение более крупной формы, дополняющих друг друга в развитие темы. Книга будет полезна и интересна всем интересующимся современной философией и философской антропологией.

Жан Бодрийяр
Прозрачность зла

Коль скоро мир движется к бредовому положению вещей, и мы должны смещаться к бредовой точке зрения.

Лучше погибнуть от крайностей, чем от отчаянья.

ПОСЛЕ ОРГИИ

Если бы мне надо было дать название современному положению вещей, я сказал бы, что это — состояние после оргии. Оргия — это каждый взрывной момент в современном мире, это момент освобождения в какой бы то ни было сфере. Освобождения политического и сексуального, освобождения сил производительных и разрушительных, освобождения женщины и ребенка, освобождения бессознательных импульсов, освобождения искусства. И вознесения всех мистерий и антимистерий. Это была всеобъемлющая оргия материального, рационального, сексуального, критического и антикритического, оргия всего, что связано с ростом и болезнями роста. Мы прошли всеми путями производства и скрытого сверхпроизводства предметов, символов, посланий, идеологий, наслаждений. Сегодня игра окончена — все освобождено. И все мы задаем себе главный вопрос: что делать теперь, после оргии?

Нам остается лишь изображать оргию и освобождение, притворяться, что ускорив шаг, мы идем в том же направлении. На самом же деле мы спешим в пустоту, потому что все конечные цели освобождения остались позади, нас неотступно преследует и мучает предвосхищение всех результатов, априорное знание всех знаков, форм и желаний.

Но что же нам все-таки делать? Мы находимся в состоянии лицедейства и не способны ни на что, кроме как заново разыграть спектакль по некогда написанному в действительности или в воображении сценарию. Это состояние, когда все утопии обрели реальные очертания, и парадокс состоит в том, что мы должны продолжать жить так, как будто этого не было. Но так как утопии все же стали реальностью, мы не можем больше тешить себя надеждой, что нам еще предстоит дать им жизнь. Все что нам остается — тщетные притворные попытки породить какую-то жизнь помимо той, которая уже существует. Мы живем в постоянном воспроизведении идеалов, фантазмов, образов, мечтаний, которые уже присутствуют рядом с нами и которые нам, в нашей роковой безучастности, необходимо возрождать снова и снова.

В сущности всюду имела место революция, но она проходила не так, как мы себе это представляем. Все, что высвобождалось, получало свободу для того, чтобы, выйдя на орбиту,

начать вращение. Слегка уклонившись, можно сказать, что неотвратимой конечной целью каждого освобождения является поддержание и питание сетей. Все, что освобождается, неизбежно подвергается бесконечным замещениям и, тем самым, возрастающей неопределенности и непостоянству.

Ничто (даже Бог) не исчезает более, достигнув своего конца или смерти; исчезновение происходит из-за размножения, заражения, насыщения и прозрачности, изнурения и истребления, из-за эпидемии притворства, перехода во вторичное, притворное существование. Нет больше фатальной формы исчезновения, есть лишь частичный распад как форма рассеяния.

Ничто более не отражается в своем истинном виде ни в зеркале, ни в пропасти, которая являет собой ни что иное, как раздвоение сознания к бесконечности. Логика вирусного рассеяния сетей уже не есть логика ценности или равноценности. Нет больше революции — есть лишь непрерывное вращение, закрученность спирали ценностей. Одновременно существующие центростремительная сила и удаленность всех систем от центра, внутренний метастаз и лихорадочное стремление к самоотравлению заставляют системы выйти за собственные границы, превзойти собственную логику, но не в тавтологическом смысле, а в росте могущества и фантастическом увеличении потенциала, таящего в себе их гибель.

Все эти перипетии приводят нас к истокам и предназначению ценности. Ранее, испытывая смутное желание создать классификацию ценностей, я выстроил некую трилогию: начальная стадия, когда существовали повседневные, бытовые ценности; рыночная стадия, когда ценность выступает как средство обмена; структурная стадия, когда появляется ценность-символ. Закон естественного развития — закон рынка — структурный закон ценностей. Эти различия, разумеется, носят формальный характер и немного напоминают те новые частицы, которые каждый месяц открывают физики. Одна частица отнюдь не исключает существования другой, они следуют друг за другом и дополняют одна другую в пределах некой гипотетической траектории. Теперь я хочу добавить новую частицу в этой физике микрообразов. После начальной, рыночной и структурной стадий ценности возникает стадия дробления. Начальной стадии соответствовало естественное природное состояние мира, и ценность развивалась согласно существовавшим естественным обычаям. Второй стадии соответствовала эквивалентность ценностей, и ценность развивалась согласно логике торговли. На третьей стадии появляется некий свод правил, и ценность развивается в соответствии с существующей совокупностью образов. На четвертой же стадии — стадии фрактальной, которую мы могли бы назвать также вирусной или стадией диффузии ценностей, уже не существует соответствия чему бы то ни было. Ценность распространяется во всех направлениях, без какой-либо логики, присутствуя в каждой скважине и щели. На этой стадии не существует более равноценности, присущей другим стадиям, нет больше самого закона ценности; есть лишь нечто, похожее на эпидемию ценности, на разрастание метастазов ценности, на ее распространение и рассеяние, зависящее лишь от воли случая. Строго говоря, здесь уже не следовало бы прибегать к самому понятию ценности, поскольку такое дробление, такая цепная реакция делает невозможным какое-либо исчисление и оценку. И вновь мы сталкиваемся с ситуацией, аналогичной той, что имеет место в физике микромира: провести расчеты в терминах прекрасного или безобразного, истинного или ложного, доброго или злого так же невозможно, как вычислить одновременно скорость частицы и ее положение в пространстве. Добро не располагается более по ту сторону зла, ничто не имеет определенного положения в системе абсцисс и ординат. Каждая частица движется в направлении, заданном ее собственным импульсом, каждая ценность или часть ее лишь мгновение сверкает на небосклоне лицедейства, а затем исчезает в пустоте, перемещаясь вдоль ломаной линии, редко соприкасающейся с траекториями других ценностей. Такова схема дробления — нынешняя схема нашей культуры.

Когда вещи, знаки, действия освобождаются от своих идей и концепций, от сущности и ценности, от происхождения и предназначения, они вступают на путь бесконечного самовоспроизводства. Все сущее продолжав функционировать, тогда как смысл

существования давно исчез. Оно продолжает функционировать при полном безразличии к собственному содержанию. И парадокс в том, что такое функционирование нисколько не страдает от этого, а, напротив, становится все более совершенным.

Таким образом, идея прогресса исчезла, но прогресс продолжается. Идея богатства, которая предполагает производство, исчезла, но производство как таковое осуществляется наилучшим образом. И по мере того, как исчезает первоначальное представление о его конечных целях, рост производства ускоряется. Идея исчезла и в политике, но политические деятели продолжают свои игры, оставаясь втайне совершенно равнодушными к собственным ставкам. О телевидении можно сказать, что оно абсолютно безразлично к тем образам, которые появляются на экране, и, вероятно, преспокойно продолжало бы существовать, если бы человечество вообще исчезло. Может быть, в каждой системе, в каждом индивидууме заложено тайное стремление избавиться от идеи своего существования, от своей сущности с тем, чтобы обрести способность размножаться и экстраполировать себя во всех направлениях? Но последствия такого распада фатальны. Всякая вещь, теряющая свою сущность, подобна человеку, потерявшему свою тень: она погружается в хаос и теряется в нем.

Здесь начинается порядок, а точнее, метастатический беспорядок размножения путем простого соприкосновения, путем ракового деления, которое более не повинуется генетическому коду ценности. Тогда начинают постепенно исчезать любовные приключения — приключения существ, наделенных половыми признаками; они отступают перед предшествующей стадией существ бессмертных и бесполых, которые, подобно одноклеточным организмам, размножались путем простого деления одного и того же вещества и отклонением от существующего кода. Современные технологически оснащенные существа — машины, клоны, протезы — тяготеют именно к этому типу воспроизводства и потихоньку насаждают его среди так называемых человеческих существ, снабженных признаками пола. Все современные исследования, в особенности биологические, направлены на совершенствование этой генетической подмены, этого последовательного, линейного воспроизводства, клонирования, партеногенеза, маленьких холостых механизмов.

В эпоху сексуального освобождения провозглашался лозунг максимума сексуальности и минимума воспроизводства. Сегодня мечтой клонического общества можно было бы назвать обратное: максимум воспроизводства и как можно меньше секса. Прежде тело было метафорой души, потом — метафорой пола. Сегодня оно не сопоставляется ни с чем; оно — лишь вместилище метастазов и механического развития всех присущих им процессов, место, где реализуется программирование в бесконечность без какой-либо организации или возвышенной цели. И при этом тело настолько замыкается на себе, что становится подобным замкнутой сети или окружности.

Метафора исчезает во всех сферах. Таков один из аспектов общей транссексуальности, которая, помимо самого секса, распространяется и на другие области в той мере, в какой они утрачивают свой специфический характер и вовлекаются в процесс смешения или заражения — в тот вирусный процесс неразличимости, который играет первостепенную роль во всех событиях наших дней.

Экономика, ставшая трансэкономикой, эстетика, ставшая трансэстетикой, сексуальность, ставшая транссексуальностью, — все это сливается в универсальном поперечном процессе, где никакая речь не сможет более быть метафорой другой речи, потому что для существования метафоры необходимо существование дифференцированного поля и различимых предметов. Но заражение всех дисциплин кладет конец такой возможности. Полная вирусная метонимия по определению (или, скорее, по отсутствию определения). Тема вируса не представляет собой перемещения биологического поля, ибо все одновременно и в равной степени затронуто вирулентностью, цепной реакцией, случайным и бессмысленным размножением, метастазированием. И может быть, отсюда и наша меланхолия, так как прежде метафора была такой прекрасной, такой эстетичной, так играла на различиях и иллюзии различий. Сегодня метонимия (замена целого и простых

элементов, общая коммутация слов) строится на крушении метафоры.

Взаимное заражение всех категорий, замена одной сферы другой, смешение жанров… Так, секс теперь присутствует не в сексе как таковом, но за его пределами, политика не сосредоточена более в политике, она затрагивает все сферы: экономику, науку, искусство, спорт… И спорт уже вышел за рамки спорта — он в бизнесе, в сексе, в политике, в общем стиле достижений. Все затронуто спортивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда, инфантильного самопреодоления. Каждая категория, таким образом, совершает фазовый переход, при котором ее сущность разжижается в растворе системы до гомеопатических, а затем до микроскопических доз — вплоть до полного исчезновения, оставляя лишь неуловимый след, словно на поверхности воды.

Таким образом, СПИД связан скорее не с избытком секса и наслаждения, а с сексуальной декомпенсацией, вызванной общим просачиванием секса во все области жизни, с этим распределением секса по всем тривиальным вариантам сексуальной инкарнации. Когда секс присутствует во всем, теряется иммунитет, стираются половые различия и тем самым исчезает сама сексуальность. Именно в этом преломлении принципа сексуальной реальности на фрактальном, нечеловеческом уровне возникает хаос эпидемии.

Может быть, мы еще сохраним память о сексе, подобно тому, как вода хранит память о разжиженных молекулах, но, строго говоря, это будет лишь молекулярная, корпускулярная память о прошлой жизни. Это не память о формах и особенностях — о чертах лица, цвете глаз, — ведь вода не может помнить формы. Таким образом, мы храним отпечаток безличной сексуальности, разведенной в бульоне политической и информационной культуры и, в конечном итоге, в вирусном неистовстве СПИДа.

Закон, который нам навязан, есть закон смешения жанров. Все сексуально, все политично, все эстетично. Все одновременно принимает политический смысл, особенно с 1968 года: и повседневная жизнь, и безумие, и язык, и средства массовой информации, и желания приобретают политический характер по мере того, как они входят в сферу освобождения и коллективных, массовых процессов. В то же время все становится сексуальным, все являет собой объект желания: власть, знания — все истолковывается в терминах фантазмов и отталкивания; сексуальный стереотип проник повсюду. И одновременно все становится эстетичным: политика превращается в спектакль, секс — в рекламу и порнографию, комплекс мероприятий — в то, что принято называть культурой, вид семиологизации средств массовой информации и рекламы, который охватывает все — до степени Ксерокса культуры. Каждая категория склонна к своей наибольшей степени обобщения, сразу теряя при этом всю свою специфику и растворяясь во всех других категориях. Когда политично все, ничто больше не политично, само это слово теряет смысл. Когда сексуально все, ничто больше не сексуально, и понятие секса невозможно определить. Когда эстетично все, ничто более не является ни прекрасным, ни безобразным, даже искусство исчезает. Это парадоксальное состояние вещей, которое является одновременно и полным осуществлением идеи, это совершенство современного прогресса, и его отрицание, ликвидация посредством переизбытка, расширения за собственные пределы можно охарактеризовать одним образным выражением: транcполитика, транссексуальность, трансэстетика.

Нет больше ни политического, ни художественного авангарда, который был бы способен предвосхищать и критиковать во имя желания, во имя перемен, во имя освобождения форм. Это революционное движение завершено. Прославленное движение современности привело не к трансмутации всех ценностей, как мы мечтали, но к рассеиванию и запутанности ценностей. Результатом всего этого стала полная неопределенность и невозможность вновь овладеть принципами эстетического, сексуального и политического определения вещей.

Пролетариату не удалось опровергнуть самого себя в качестве такового — это доказала полуторавековая история со времен Маркса. Ему удалось опровергнуть себя в качестве класса и тем самым упразднить классовое общество. Возможно дело в том, что он и не был

классом, как это считалось, — только буржуазия была подлинным классом, и, следовательно, только она и могла опровергнуть самое себя, что она с успехом и сделала, заодно уничтожив капитал и породив бесклассовое общество. Но это общество не имеет ничего общего с тем, которое должно было быть создано в результате революции и отрицания пролетариата как такового. Сам пролетариат просто рассеялся вместе с классовой борьбой. Несомненно, если бы капитал развивался согласно своей противоречивой логике, он был бы уничтожен пролетариатом. Анализ Маркса остается абсолютно безупречным. Он просто не предвидел, что перед лицом неминуемой угрозы капитал может в какой-то мере трансполитизироваться, переместиться на другую орбиту — за пределы производственных отношений и политических антагонизмов, автономизироваться в виде случайной, оборотной и экстатической формы, и при этом представить весь мир во всем его многообразии по своему образу и подобию. Капитал (если его еще можно так называть) создал тупик в политической экономии и в законе стоимости: именно на этом направлении ему и удается избежать собственного конца. Отныне он действует вне своих собственных конечных целей и совершенно изолированно. Первым проявлением этой мутации стал, безусловно, кризис 1929 года; крах 1987 года — лишь последующий эпизод того же процесса.

В революционной теории есть также живое утопическое представление о том, что государство исчезнет, что политическое как таковое изживет себя в апофеозе и прозрачности социального. Ничего подобного не произошло. Политическое благополучно исчезло, но не возвысившись до социального, а увлекая его в своем исчезновении за собой. Мы обитаем в трансполитическом, иначе говоря, на нулевой отметке политического, характерной также и для его воспроизведения и бесконечной симуляции. Ибо все, что не выходит за свои пределы, имеет право на бесконечное возвращение к жизни. Поэтому политическое никогда не перестанет исчезать, но и не позволит ничему иному занять его место. Мы присутствуем при гистерезисе политического.

Искусство также не смогло, в соответствии с современной эстетической утопией, возвыситься в качестве идеальной формы жизни (прежде искусству не было надобности выходить за свои пределы, чтобы достичь целостности, ибо таковая уже существовала — религиозная целостность). Искусство растворилось не в возвышенной идеализации, а в общей эстетизации повседневной жизни, оно исчезло, уступив место чистой циркуляции образов, растворилось в трансэстетике банальности. В этих перипетиях искусство даже обогнало капитал. Если решающим политическим событием стал стратегический кризис 1929 года, в результате которого капитал вошел в политическую эру масс, то критическим событием в искусстве были, без сомнения, дадаизм и Дюшамп, когда искусство, отвергая свои собственные правила эстетической игры, входит в трансэстетическую эру банальности образов.

Не реализовалась и сексуальная утопия, согласно которой секс должен был опровергнуть себя как обособленный вид деятельности и уподобиться всей жизни — мечта сексуального освобождения: полнота желания и его реализации у каждого из нас, и у мужчины, и у женщины одновременно, та сексуальность, о которой мечтают, успение желания независимо от пола.

Но на пути сексуального освобождения сексуальность достигла лишь автономизации, уподобившись безучастному кругообороту символов секса. Если мы действительно находимся на пути, ведущем к транссексуальности, это не поможет нам изменить жизнь посредством секса, а повлечет за собой смешение и скученность, которые ведут к виртуальной индифферентности пола.

Не является ли успех коммуникации и информатизации результатом того, что социальные отношения не могут выйти за свои пределы, будучи отчужденными? За неимением этого они возрастают в процессе коммуникации, множатся во всем многообразии сетей, натыкаясь на их безразличие. Коммуникация предстает перед нами, как нечто наиболее социальное, это — сверхотношения, социальность, приводимая в движение техникой социального. Социальное же по своей сути есть нечто иное. Это была мечта, миф,

утопия, форма, которой присущи конфликты, противоречия, страстность, во всяком случае явление неровное и особенное. Коммуникация же, упрощая «интерфейс», ведет социальную форму к безразличию. Вот почему не существует утопии коммуникации. Утопия коммуникационного общества лишена смысла, потому что коммуникация является результатом неспособности общества преодолеть свои границы и устремиться к иным целям. Это относится и к информации: избыток знаний безразлично рассеивается по поверхности во всех направлениях, при этом происходит лишь замена одного слова другим. Интерфейс подключает собеседников друг к другу, как штекер к электрической розетке. Коммуникация осуществляется путем единого мгновенного цикла, и для того, чтобы все шло хорошо, необходим темп — времени для тишины не остается. Тишина изгнана с экранов, изгнана из коммуникации. Изображения, поставляемые средствами массовой информации (а тексты подобны изображениям), никогда не умолкают: изображения сообщений должны следовать друг за другом без перерыва. Молчание — разрыв замкнутой линии, легкой катастрофой, оплошностью, которая по телевидению, например, становится весьма показательной, ибо это — нарушение, полное и тревоги, и ликования, подтверждающее, что любая коммуникация, по сути, есть лишь принудительный сценарий, непрерывная фикция, избавляющая нас от пустоты — и не только от пустоты экрана, но и от пустоты нашего умственного экрана, на котором мы с не меньшим вожделением ждем изображения. Образ сидящего человека, созерцающего в день забастовки пустой экран своего телевизора, когда-нибудь сочтут одним из самых великолепных образов антропологии XX века.

ТРАНСЭСТЕТИКА

Мы видим, что искусство повсеместно размножается, а разговоры о нем множатся еще быстрее. В то же время само искусство, с присущей ему гениальностью, авантюрностью, способностью порождать иллюзии и отрицать реальность, противопоставляя ей сцену, на которой вещи подчиняются правилам высшей игры, совершенное изображение, где люди, уподобляясь линиям и краскам на полотне, могут терять свое реальное содержание, ускорять свой собственный конец и в порыве соблазна воссоединяться со своей идеальной формой, будь то даже форма их собственного уничтожения, — это искусство исчезло. Исчезло искусство в смысле символического соглашения, отличающего его от чистого и простого производства эстетических ценностей, известного нам под именем культуры — бесконечного распространения знаков, рециркуляции прошлых и современных форм. Нет больше ни основного правила, ни критерия суждения, ни наслаждения. Сегодня в области эстетики уже не существует Бога, способного распознать своих подданных. Или, следуя другой метафоре, нет золотого стандарта ни для эстетических суждений, ни для наслаждений. Это — как валюта, которая отныне не подлежит обмену, курс которой не может колебаться по собственному усмотрению, избегая конверсии в цене или реальной стоимости.

То же происходит с нами и в искусстве: стадия сверхскоростной циркуляции и невозможности обмена. Произведения искусства более не подлежат обмену ни одно на другое, ни на какие-либо равные ценности. Они не обладают той тайной сопричастности, которая составляет силу культуры. Мы их уже не читаем, а лишь расшифровываем — по все более противоречивым «ключам».

Здесь нет противоречия. Новая геометрия, новая экспрессия, новая абстракция, новые формы — все это великолепно сосуществует во всеобщей индифферентности. Именно потому, что все эти тенденции не обладают более собственной гениальностью, они могут сосуществовать в одном и том же культурном пространстве. Именно потому, что все они вызывают у нас чувство глубокого безразличия, мы можем воспринимать их одновременно.

Артистический мир представляет собой странную картину. Будто имеет место застой искусства и вдохновения. Будто бы то, что веками чудесным образом развивалось, внезапно стало неподвижным, ошеломленным собственным изображением и собственным изобилием.

За любым конвульсивным движением современного искусства стоит некий вид инерции, нечто, не могущее выйти за свои пределы и вращающееся вокруг своей оси, со все большей и большей скоростью повторяя одни и те же движения. Застой живой формы искусства — и одновременно размножение, беспорядочная инфляция ценности, многочисленные вариации всех предшествовавших форм (словно движения чего-то уже мертвого). И это вполне логично: где застой, там и метастазы. Там, где живая форма больше не распоряжается собой, где перестают действовать правила генетической игры (как в случае рака), клетки начинают беспорядочно размножаться. По существу в том хаосе, который ныне царит в искусстве, можно прочесть нарушение тайного кода эстетики, подобно тому, как в беспорядке биологического характера можно прочесть нарушение кода генетического.

Пройдя через освобождение форм, линий, цвета и эстетических концепций, через смешение всех культур и всех стилей, наше общество достигло всеобщей эстетизации, выдвижения всех форм культуры (не забыв при этом и формы антикультуры), вознесения всех способов воспроизведения и антивоспроизведения. Если раньше искусство было, в сущности, лишь утопией, или, иначе говоря, чем-то, ускользающим от любого воплощения, то сегодня эта утопия получила реальное воплощение: благодаря средствам массовой информации, теории информации, видео — все стали потенциальными творцами. Даже антиискусство — наиболее радикальная из всех артистических утопий — обрело свои очертания с тех пор, как Дюшамп изобразил ерш для мытья бутылок, а Энди Вархоль пожелал стать машиной. Все индустриальное машиностроение в мире оказалось эстетизированным; все ничтожество мира оказалось преображенным эстетикой.

Говорят, что великое начинание Запада — это стремление сделать мир меркантильным, поставить все в зависимость от судьбы товара. Но эта затея заключалась скорее в эстетизации мира, в превращении его в космополитическое пространство, в совокупность изображений, в семиотическое образование. Помимо рыночного материализма, мы наблюдаем сегодня, как каждая вещь посредством рекламы, средств массовой информации и изображений приобретает свой символ. Даже самое банальное и непристойное — и то рядится в эстетику, облачается в культуру и стремится стать достойным музея. Все заявляет о себе, все самовыражается, набирает силу и обретает собственный знак. Система скорее функционирует за счет эстетической прибавочной стоимости знака, нежели за счет прибавочной стоимости товара.

Идут разговоры о дематериализации искусства и вместе с тем о минимальном искусстве, о концептуальном искусстве, об эфемерном искусстве, об антиискусстве, о целой эстетике прозрачности, исчезновения, дезинкарнации, но в действительности эта эстетика повсюду обретает свое материальное воплощение в операционной форме. Впрочем, именно поэтому искусство вынуждено уменьшаться, изображая собственное исчезновение. И оно совершает это уже в течение века, следуя всем правилам игры. Как все исчезающие формы, искусство пытается возрасти посредством симуляции, но вскоре оно окончательно прекратит свое существование, уступив место гигантскому искусственному музею искусств и разнузданной рекламе.

Головокружительные эклектические формы и забавы были присущи уже барокко. Но головокружение от искусства — это головокружение чувственное. Как и приверженцы стиля барокко, мы являемся неутомимыми создателями образов, но в тайне все-таки остаемся иконоборцами. Но не теми, кто разрушает образы, а теми, кто создает изобилие образов, ничего в себе не несущих. Большинство современных зрелищ, видео, живопись, пластические искусства, аудиовизуальные средства, синтезированные образы — все это представляет собой изображения, на которых буквально невозможно увидеть что-либо. Все они лишены теней, следов, последствий. Все, что мы можем почувствовать, глядя на любое из этих изображений, — это исчезновение чего-то, прежде существовавшего. В них и нет ничего иного, кроме следов того, что исчезло. Все, что очаровывает в картине, выполненной в одном цвете, — это восхитительное отсутствие всякой формы. Это стирание всякого эстетического синтаксиса, происходящее еще под видом искусства, завораживает так же, как

совершающееся еще на уровне представления стирание половых различий в транссексуальности. Эти изображения ничего не скрывают и ничего не показывают, в них присутствует какая-то отрицательная напряженность. Одно из огромных преимуществ ящика Кэмпбелла Энди Вархоля в том, что не надо больше задаваться вопросом о красоте или безобразии, о реальном или вымышленном, о превосходстве или несовершенстве, подобно тому, как византийские иконы позволяли не задаваться больше вопросом о существовании Бога, но люди при этом не переставали верить в Него.

Это и есть чудо. Наши образы похожи на иконы: они позволяют нам продолжать верить в искусство, избегая при этом вопроса о его существовании. Таким образом, быть может, следует рассматривать все наше современное искусство как ритуал, придавая значение лишь его антропологической функции и не высказывая никаких суждений эстетического характера. Вероятно, мы вернулись к культурному уровню первобытного общества (умозрительный фетишизм рынка искусства сам является частью ритуала призрачности искусства).

Мы оказались в окружении то ли ультраэстетики, то ли инфраэстетики. Бесполезно искать в нашем искусстве какую-либо связность или эстетическое предназначение. Это было бы подобно стремлению отыскать небесную голубизну среди инфракрасного или ультрафиолетового.

В этом смысле мы, не будучи ни среди прекрасного, ни среди безобразного и не имея возможности судить ни о том, ни о другом, обречены на безразличие. Но по ту сторону этого безразличия возникает, подменяя собой эстетическое наслаждение, ослепление иного рода. Раз и навсегда освобожденные от своих взаимных оков, красота и уродство как бы разрастаются, становясь более красивым, чем сама красота, или более уродливым, чем само уродство. Таким образом, современная живопись, строго говоря, культивирует не уродство (которое еще обладает эстетической ценностью), а нечто еще более безобразное, чем просто уродство, — кич, уродство в квадрате, ибо оно никак не соотнесено со своей противоположностью. Если вы не ощущаете воздействия от подлинного Мондриана, вы вольны творить в манере, более характерной для него, чем он сам. Не имея ничего общего с простодушными людьми, вы можете прикинуться наивнейшим простачком. Освободившись от реального, вы способны создать нечто большее, чем реальность, — сверхреальность. Именно с суперреализма и поп-искусства все и началось — когда обыденную жизнь начали возвышать до уровня иронического могущества фотографического реализма. Сегодня эта эскалация объединяет абсолютно все формы искусства и все стили, которые входят в трансэстетическую сферу симуляции.

На самом рынке искусства имеется параллель этой эскалации. Здесь тоже, коль скоро больше не существует рыночного закона стоимости, все становится дороже, чем самое дорогое, дорогим вдвойне: цены чрезвычайно высоки, инфляция беспредельна. Точно так же, как при отсутствии правил эстетической игры, игра эта начинает полыхать во всех направлениях, так и при утрате связи с законом товарообмена, рынок начинает трясти от безудержной спекуляции.

Та же горячность, то же безумие, тот же эксцесс. Рекламная вспышка искусства напрямую связана с невозможностью какой-либо эстетической оценки. Стоимость растет тогда, когда отсутствует суждение о ней. Мы присутствуем при экстазе ценности.

На сегодняшний день существуют два рынка искусства. Один пока еще регулируется иерархией ценностей, даже если эти ценности уже имеют спекулятивный характер. Другой же устроен по образцу неконтролируемого оборотного капитала финансового рынка: это — чистая спекуляция, всеобщая ленная зависимость, которая, кажется, не имеет иной цели, кроме как бросить вызов закону стоимости. Этот рынок искусства более походит на покер или на потлач — на научно-фантастический сюжет в гиперпространстве ценностей. Надо ли этим возмущаться? В этом нет ничего аморального. Как современное искусство находится по ту сторону красоты и безобразия, так и рынок существует по ту сторону добра и зла.

ТРАНССЕКСУАЛЬНОСТЬ

В наши дни тело, имеющее половые признаки, предоставлено своего рода искусственной судьбе. Эта искусственная судьба — транссексуальность. Транссексуальность не в анатомическом, а в более общем смысле. Речь идет о маскараде, об игре, построенной на коммутации признаков пола, на половом безразличии в противовес той, прежней игре, что основывалась на половых различиях, об индифферентности сексуальных полюсов и равнодушии к сексу как источнику наслаждения. Сексуальность связана с наслаждением (это — лейтмотив освобождения), транссексуальность — с искусственностью, будь то уловки, направленные на изменение пола, или присущая трансвеститу игра знаков, относящихся к одежде, морфологии, жестам. Во всех случаях — имеет ли место операция хирургическая или полухирургическая, подлежит ли замене орган или знак — речь идет о протезировании, и сегодня, когда предназначение тела состоит в том, чтобы стать протезом, вполне логично, что моделью сексуальности становится транссексуальность, и именно она станет повсюду пунктом обольщения.

Все мы транссексуалы. Мы такие же потенциальные транссексуалы, как и биологические мутанты. И это не вопрос биологии — мы транссексуалы в смысле символики.

Взгляните на Чичиолину. Есть ли на свете более великолепное воплощение секса, порнографической невинности секса? Ее антипод — Мадонна, этот девственный плод аэробики и ледяной эстетики, лишенный всякого шарма и всякой чувственности, мускулистое человекообразное существо. Потому-то и смогли создать из нее синтетического идола. Но сама Чичиолина — разве она не транссексуальна? Длинные волосы серебристого цвета, литые груди в форме ложек, идеальные формы надувной куклы, вульгарный эротизм комиксов или научно-фантастических фильмов, и, в особенности, — постоянные разговоры на сексуальные темы, которые, впрочем, никогда не носят извращенного или разнузданного характера, дозволенные отклонения; словом — идеальная женщина, сидящая перед розовым телефоном, в сочетании с плотоядной эротической идеологией, которую, вероятно, не приписала бы себе ни одна женщина, кроме, конечно, транссексуалки, трансвестита: только они, как известно, живут преувеличенными символами — плотоядными символами сексуальности. Чувственная эктоплазма, каковую являет собой Чичиолина, соединяется здесь с искусственным нитроглицерином Мадонны или с очарованием Майкла Джексона — этого гермафродита в стиле Франкенштейна. Все они мутанты, трансвеститы, генетически вычурные существа, чье эротическое обличье скрывает генетическую неопределенность. Все они — игроки от пола, пере-беж-чики из одного пола в другой.

Посмотрите на Майкла Джексона. Он одинокий мутант, предшественник всеобщего и потому величественного смешения рас, представитель новой расы. Перед сегодняшними детьми нет никаких преград на пути к обществу смешанных рас: оно — их Вселенная, а Майкл Джексон предвосхищает то, что они представляют себе как идеальное будущее. К этому надо добавить, что Майкл Джексон и переделал свое лицо, и взбил волосы, и осветлил кожу — короче, он самым тщательным образом создал сам себя. Это превратило его в невинное, чистое дитя, в искусственный, сказочный двуполый персонаж, который скорее, чем Христос, способен воцариться в мире и примирить его, потому что он ценнее, чем дитя-бог: это дитя-протез, эмбрион всех мыслимых форм мутации, которые, вероятно, освободят нас от принадлежности к определенной расе и полу.

Можно было бы также говорить и о трансвеститах от эстетики, символическим представителем которых выступает Энди Вархоль. Как и Майкл Джексон, Энди Вархоль — одинокий мутант, предшественник великолепного универсального смешения искусств, формирования новой эстетики, вбирающей в себя все существующие виды эстетики. Как и Джексон, он — совершенно искусственный персонаж, столь же невинный и чистый гермафродит нового поколения, вариант мистического протеза и искусственной машины, которая своим совершенством освобождает нас одновременно и от пола, и от эстетики.

Когда Энди говорит: "Все произведения прекрасны, мне нет надобности выбирать, ибо все современные произведения стоят друг друга"; когда он говорит: "Искусство повсюду, и тем самым оно больше не существует; весь мир гениален, мир такой, какой он есть, гениален даже в своей простоте" — никто не может в это поверить. Но он тем самым представляет конфигурацию современной эстетики, которая являет собой радикальный агностицизм.

Все мы агностики или трансвеститы от искусства или секса. У нас нет больше ни эстетических, ни сексуальных убеждений. Мы исповедуем все убеждения без исключения.

Миф о сексуальной свободе остается живым в многочисленных формах в реальном мире, а в воображении доминирует именно транссексуальный миф с присущими ему двуполыми и гермафродитическими вариантами. После оргии наступает время маскарада, после желания появляется все то, что уподобляется эротическому, хаос и транссексуальный беспредел (кич) во всей своей славе. Постмодернистская порнография, если можно так выразиться, где сексуальность теряется в театральных излишествах своей двусмысленности. Вещи очень изменились с тех пор, как секс и политика составляли часть одного и того же разрушительного плана: если Чичиолина может быть сегодня избрана депутатом итальянского парламента, то именно потому, что транссексуальность и трансполитика объединяются в одном и том же ироничном безразличии. Такой результат — немыслимый всего несколько лет назад — свидетельствует о том, что не только сексуальная, но и политическая культура перешла на сторону маскарада.

Эта стратегия изгнания телесного посредством символов секса, изгнание желания посредством его преувеличенных демонстраций является более эффективной, чем стратегия доброго старого подавления путем запрета. Однако в отличие от стратегии запрета стратегию изгнания испытывают на себе все без исключения; становится непонятным, кто же в конце концов от нее выигрывает. Образ жизни трансвестита стал самой основой наших действий, даже тех, что направлены на поиск подлинности и различий. У нас нет больше времени искать свою тождественность ни в архивах, ни в памяти, ни в каких-либо планах или в будущем. Нам нужна мгновенная память, быстрое ветвление, нечто вроде рекламной тождественности, которая может подтвердиться в любой момент. Таким образом, сегодня мы стремимся не столько к здоровью, которое представляет собой состояние органического равновесия, сколько к эфемерному, гигиеническому, рекламному ореолу тела, что есть совершенство гораздо большее, нежели просто идеальное состояние. Что же касается моды и внешнего вида, мы жаждем отнюдь не красоты или обольстительности, мы жаждем обличья.

Каждый ищет свое обличье. Так как более невозможно постичь смысл собственного существования, остается лишь выставлять напоказ свою наружность, не заботясь ни о том, чтобы быть увиденным, ни даже о том, чтобы быть. Человек не говорит себе: я существую, я здесь, но: я видим, я — изображение, смотрите же, смотрите! Это даже не самолюбование, это — поверхностная общительность, разновидность рекламного простодушия, где каждый становится импресарио своего собственного облика.

Облик есть некая разновидность минимального изображения минимальной четкости — нечто подобное видеоизображению, разновидность осязаемого изображения, как сказал бы Мак-Люэн, не вызывающего ни взгляда, ни восхищения, как это происходит с модой, но чисто специфический эффект без особой значимости. Облик — это уже не мода, это ушедшая разновидность моды. Это нечто, не претендующее даже на логику различий, не являющееся более игрой различий, но лишь пытающееся играть в различия, не веря в саму эту возможность. Это — безразличие, отсутствие различий. Быть самим собой становится эфемерным достижением, не имеющим будущего, маньеризмом, терпящим разочарование в этом мире, где отсутствуют манеры.

В ретроспективе этот триумф транссексуальности и маскарада бросает странный свет на сексуальное освобождение предшествующих поколений. Не будучи вторжением максимальной эротической ценности тела, это освобождение с присущим ему привилегированным успением женственности и наслаждения, было, быть может, лишь промежуточной стадией на пути к смешению полов. Сексуальная революция была, видимо,

лишь этапом на пути к транссексуальности. В сущности, в этом — проблематичное предназначение любой революции.

Кибернетическая революция подводит человека, оказавшегося перед лицом равновесия между мозгом и компьютером, к решающему вопросу: человек я или машина? Происходящая в наши дни генетическая революция подводит человека к вопросу: человек я или виртуальный клон? Сексуальная революция, освобождая все виртуальные аспекты желания, ведет к основному вопросу: мужчина я или женщина? (Психоанализ, по меньшей мере, положил начало этой неуверенности.) Что же касается политической и социальной революции, послужившей прототипом для всех других, она, предоставив человеку право на свободу и собственную волю, с беспощадной логикой заставила его спросить себя, в чем же состоит его собственная воля, чего он хочет на самом деле и чего он вправе ждать от самого себя. Поистине неразрешимая проблема. Таков парадоксальный итог любой революции: вместе с ней приходят неопределенность, тревога и путаница. По окончании оргии освобождение поставило весь мир перед проблемой поиска своей родовой и половой идентичности, оставляя все меньше и меньше возможных ответов, если учесть циркуляцию знаков и множественность желаний. Именно таким образом мы стали транссексуалами. Точно также мы стали трансполитиками, т. е. существами, не различающими ничего и не различимыми ни в чем, что касается политики, двуполыми гермафродитами, взяв при этом на вооружение, тщательно обдумав и в конце концов отбросив наиболее противоречивые идеологии, нося отныне только маску и сделавшись, может быть, сами того не желая, трансвеститами от политики.

ТРАНСЭКОНОМИКА

Весьма любопытной чертой, связанной с крахом на Уолл-стрит в 1987 году, является неуверенность в том, имела ли на самом деле место настоящая катастрофа и ожидается ли таковая в будущем. Правильный ответ — нет, реальной катастрофы не будет, потому что мы живем под знаком катастрофы виртуальной.

В этом контексте красноречиво проявляется несоответствие между фиктивной экономикой и экономикой реальной. Именно этот диссонанс и защищает нас от реальной катастрофы производительной экономики.

Хорошо это или плохо? Это то же самое, что несоизмеримость между орбитальной войной и территориальными войнами. Последние продолжаются повсеместно, но ядерная война при этом не разражается. Однако если бы не эта несоизмеримость, ядерный конфликт уже давно бы произошел. Мы живем под бомбами, которые не взрываются, и виртуальными катастрофами, которые не разражаются. Это и международный биржевой и финансовый крах, и ядерное столкновение, и бомба долгов стран Третьего мира, и демографическая бомба. Можно, конечно, предсказать, что в один прекрасный день все это неминуемо взорвется, как предсказывают сейсмическое сползание Калифорнии в Тихий океан в ближайшие 50 лет. Но факты говорят о том, что мы находимся в таком положении, когда взрыва не происходит. Единственная реальность — это безудержный орбитальный кругооборот капитала, который, если и завершится обвалом, не повлечет за собой существенного нарушения равновесия в реальной экономике (в отличие от кризиса 1929 года, когда противоречия между двумя экономиками еще не были столь значительными). Без сомнения, так происходит потому, что сфера спекулятивных оборотных капиталов уже настолько автономна, что сами ее конвульсии не оставляют никаких следов.

Они, однако, оставляют убийственный след в экономической науке, совершенно безоружной перед лицом этого взрыва своего объекта. Также безоружны и теоретики войны. Ибо на войне бомба тоже не взрывается, а сама война подразделяется на всеобщую виртуальную войну на космической орбите и многочисленные реальные войны на земле. У этих двух разновидностей войны разный масштаб и разные правила; то же самое можно сказать и об экономике виртуальной и экономике реальной. Нам надо привыкнуть к этому

разделению, к миру, в котором господствуют такие несоответствия. Конечно же, был кризис 1929 года, был и атомный взрыв в Хиросиме — моменты настоящего краха и столкновения, но ни капитал не переходил из кризиса в кризис все большей глубины, как того хотелось Марксу, ни война — от столкновения к столкновению.

Событие происходит единожды, и на этом — все. Продолжение — уже нечто совсем другое: гиперреализация и крупного финансового капитала, и средств массового уничтожения — все это находится у нас над головами, в векторном пространстве, ускользающем не только от нас, но и от самой реальности; гиперреализованные войны и деньги вращаются в недоступном пространстве, которое оставляет мир таким, какой он есть. В конечном итоге, экономика продолжает производить, в то время как малейшего логического следствия из колебаний фиктивной экономики было бы достаточно, чтобы ее уничтожить (не забудем, что объем товарообмена сегодня в 45 раз уступает объему перелива капитала). Мир продолжает существовать при том, что высвобождения тысячной доли ядерной мощи хватило бы на то, чтобы его уничтожить. Третий мир, как и два других, выживает, тогда как достаточно было бы малейшей робкой попытки взыскать с него долги, чтобы прекратились все поставки. Впрочем, долг начинает приобретать орбитальный, циклический характер, перемещаясь по кругу из одного банка в другой, из одной страны в другую — ту, которая вновь обретает его, так что в конце концов о нем благополучно забудут, выведут на орбиту, как атомные отходы и многое другое, и он, долг, будет великолепно на этой орбите крутиться. Эти отсутствующие оборотные капиталы и это негативное богатство в какой-то момент, несомненно, начнут котироваться на бирже.

Когда долг становится слишком обременительным, его взрывают в виртуальном пространстве, где он выступает в роли катастрофы, замороженной на своей орбите. Долг становится спутником Земли, подобно тому, как миллиарды свободного капитала превратились в груду — спутник, неустанно вращающийся вокруг нас. И, без сомнения, это к лучшему. Пока они вращаются, пусть даже взрываясь в своем пространстве (как это было с миллиардами, потерянными во время краха 1987 года), мир остается неизменным, а это лучшее, на что можно надеяться. Потому что надежда примирить фиктивную экономику с реальной утопична: эти свободно обращающиеся миллиарды долларов невозможно переместить в реальную экономику, что, впрочем, является большой удачей, ибо если бы каким-то чудом они оказались вложены в производство, это стало бы настоящей катастрофой. Оставим и виртуальную войну на ее орбите, ибо именно там она нас защищает: благодаря своей крайней абстрактности и чудовищной эксцентричности, ядерное оружие оказывается нашей лучшей защитой. И мы привыкаем жить в тени таких наростов, как орбитальная бомба, финансовая спекуляция, мировой долг, перенаселение (для которого пока не найдено орбитального решения, но надежда не потеряна). В том виде, как они есть, они изгоняются в своем избытке, даже в своей гиперреальности и оставляют мир в какой-то мере невредимым, освобожденным от своего двойника.

Сегален говорил, что, начиная с того момента, когда действительно узнали, что Земля — сфера, путешествие перестало существовать, потому что удаляться от какой-либо точки сферы означает к этой же точке приближаться. На сфере линейность приобретает странную кривизну, кривизну однообразия. С тех пор, как астронавты начали вращаться вокруг Земли, каждый стал тайком вращаться вокруг самого себя. Началась орбитальная эра, пространство которой великолепным образом составляет телевидение и многое другое, подобно тому, как круговорот молекул и спиралей ДНК составляет тайну наших клеток. С началом первых орбитальных космических полетов завершилось освоение мира, но сам прогресс стал круговым, а человеческая вселенная превратилась в огромную орбитальную станцию. Как сказал Сегален, начинается «туризм» — нескончаемый туризм людей, которые, строго говоря, не путешествуют, а двигаются по кругу в замкнутом пространстве. Экзотика умерла.

Тезис Сегалена приобретает более широкий смысл. Перестает существовать не только путешествие, т. е. постижение Земли, но и физика и метафизика поступательного движения; от них остается лишь циркуляция, а все то, что предназначалось для возвышения,

превосходства, устремления в бесконечность — знание, техника, сознание — искусно отклоняется, дабы выйти на орбиту. Переставая быть совершенными в своих замыслах, эти области начинают создавать для себя постоянную орбиту. Таким образом, и информация орбитальна: это знание, которое никогда больше не превзойдет само себя, не отразится в бесконечности, но и не коснется земли, ибо не имеет на ней надежной пристани, где можно бросить якорь. Все это движется, вращается, совершая порой совершенно бесполезные обороты (но вопрос о полезности более не стоит), и разрастается с каждым оборотом, с каждым витком спирали. Телевидение — это изображение, которое больше ни о чем не помышляет и которое не имеет больше ничего общего с реальностью. Это — круговая орбита. Атомная бомба — будь она спутником или нет — также явление орбитальное: она не перестанет преследовать Землю, оставаясь на своей траектории, но она не создана и для того, чтобы поразить Землю: она не есть завершенная бомба; эта бомба не окончит своего существования (по крайней мере, на это надеются); она там, на орбите, и этого вполне достаточно для терроризирования, по крайней мере, для устрашения. Она не заставляет даже думать об ужасах разрушения, поскольку само разрушение представляется невероятным; она просто находится там, на орбите, в подвешенном состоянии и бесконечном повторении. То же самое можно сказать о евродолларах и об обращающихся денежных массах… Все становится спутником; похоже и сам наш мозг уже вне нас, он витает вокруг в бесчисленных ветвлениях круговых электромагнитных волн.

И это не из области научной фантастики. Это просто обобщение теории Мак-Люэна о "развитии человека". Все, что есть в человеческом существе — его биологическая, мускульная, мозговая субстанция, — витает вокруг него в форме механических или информационных протезов. Просто у Мак-Люэна все это представлено как позитивная экспансия, как универсализация человека через его опосредованное развитие. И все это весьма оптимистично. В действительности же, вместо того, чтобы концентрически вращаться вокруг тела, все эти функции превратились в сателлиты, расположившиеся в эксцентрическом порядке. Они сами вывели себя на орбиту, и человек сразу же оказался в состоянии эксцесса и эксцентричности относительно этой орбитальной экстравертности своих собственных функций, своей собственной технологии. Человек вместе со своей планетой Земля, со своим ареалом, со своим телом сегодня сам стал спутником тех самых сателлитов, которые он же создал и вывел на орбиту. Из превосходящего он стал чрезмерным.

Но сателлитом становится не только тело человека, чьи функции, выходя на орбиту, принуждают его к этому. Все функции нашего общества, в особенности, высшие функции, отделяются и выходят на орбиту. Война, финансовые сделки, техносфера, коммуникации становятся сателлитами в непостижимом пространстве, повергая в запустение все остальное. Все, что не достигает орбитального могущества, обречено на запустение, отныне не подлежащее обжалованию, потому что нет больше прибежища в каком-либо превосходстве.

Мы находимся в эре невесомости. Наша модель — космическая ниша, кинетическая энергия которой аннулирует энергию Земли. Центробежная энергия многочисленных технологий освобождает нас от всякой силы тяготения и наделяет нас бесполезной свободой движения. Свободные от всякой плотности и гравитации, мы вовлечены в орбитальное движение, которое рискует стать вечным.

Мы существуем не среди возрастания, но среди наростов. Мы живем в обществе размножения, в обществе того, что продолжает возрастать и что невозможно измерить, того, что развивается, не обращая внимания на свою природу, чьи результаты разрастаются с исчезновением причин, что ведет к необычайному засорению всех систем, к разрушению посредством эксцесса, избытка функциональности, насыщения. Лучше всего это можно сравнить с процессом распространения раковых метастазов: утрата телом правил органической игры ведет к тому, что тот или иной набор клеток может выражать свою неукротимую и убийственную жизнеспособность, не подчиняясь генетическим командам, и неограниченно размножаться.

Это уже не критическое состояние: кризис всегда связан с причинностью, с нарушением равновесия между причиной и следствием; он может разрешиться или не разрешиться посредством исправления причин. В нашей же ситуации причины сами перестают быть четкими, они уступают место интенсификации процессов в пустоте.

Коль скоро в системе возникает дисфункция, неподчинение известным законам функционирования, имеется и перспектива решения за счет выхода за пределы. Но такое решение не представляется возможным, когда система сама вышла за свои пределы, когда она превзошла свои собственные цели и когда для нее уже нельзя найти никакого лекарства. Пустота никогда не бывает трагичной, насыщение всегда фатально; оно порождает одновременно и столбняк, и инертность.

Прежде всего поразительна непомерная «тучность» всех современных систем, эта, как говорит о раке Сьюзен Зонтаг, "дьявольская беременность", присущая нашим механизмам информации, коммуникации, памяти, складирования, созидания и разрушения, механизмам столь избыточным, что они заранее застрахованы от какого-либо использования. В действительности не мы покончили с потребительской стоимостью, а сама система ликвидировала ее путем перепроизводства. Произведено и накоплено столько вещей, что они просто не успеют сослужить свою службу (что является великим благом, когда речь идет об атомных вооружениях). Написано и распространено столько знаков и сообщений, что они никогда не будут прочитаны. К счастью для нас! Ибо даже с той малой частью, которую мы абсорбируем, с нами происходит нечто, подобное казни на электрическом стуле.

Этой необычайной бесполезности присуща некая особая тошнота. Тошнота, испытываемая миром, который размножается, гипертрофируется и никак не может разродиться. Все мемуары, все архивы, вся документация не в состоянии разродиться одной-единственной идеей; все эти планы, программы, решения не могут разрешиться каким-либо событием; все изощренное оружие не может разрешиться войной!

Это насыщение превосходит эксцесс, о котором говорил Батай и который все общественные формации всегда умели разрушать в результате бесполезных чрезмерных трат. У нас нет возможности истратить все накопленное, и нам не остается ничего, кроме медленной или быстрой декомпенсации, так как каждый фактор ускорения, играя роль фактора инертности, приближает нас к точке апогея инертности. И ощущение катастрофы есть предчувствие достижения этой точки.

Этот двойной процесс парализации и инертности, ускорения в пустоте, избыточности производства при отсутствии социального содержания и конечных целей, отражает и двойственный феномен, который принято приписывать кризису: инфляция и безработица.

Традиционные инфляция и безработица составляют переменные, входящие в уравнение роста: на этом уровне кризиса нет — есть лишь неупорядоченные процессы, а сама их неупорядоченность является тенью органической целостности. Ныне аномалия приобретает весьма тревожный характер. Она — не явный симптом, а странный знак упадка, нарушения правил какой-то тайной игры или, по меньшей мере, чего-то, нам неизвестного. Возможно, это эксцесс конечной цели, но мы ничего об этом не знаем. Что-то от нас ускользает, мы сами скрываемся в невозвратности, мы прошли некую точку обратимости, предметной противоречивости и живьем вступили в космос непротиворечивости, увлеченности, экстаза, удивления перед необратимыми процессами, впрочем, не имеющими смысла.

Но есть нечто другое, гораздо более ошеломляющее, чем инфляция. Это — оборот денежной массы, охватывающий Землю своей круговой орбитой. Единственный настоящий искусственный спутник — монета, ставшая чистым артефактом, обладающая поразительной мобильностью, мгновенной обращаемостью, и нашедшая, наконец, свое настоящее место, еще более необычное, чем фондовая биржа: орбиту, где она всходит и заходит, подобно искусственному солнцу.

И безработица тоже изменила смысл. Это уже не стратегия капитала (резервная армия), не критический фактор в игре социальных отношений. Иначе, при том, что напряженность уже превзошла все пределы, безработица привела бы к неслыханным потрясениям. Что же

происходит сегодня? Безработица тоже стала разновидностью искусственного спутника; это — сателлит инертности, масса, заряженная даже не отрицательным зарядом, но статическим электричеством, та все более возрастающая часть общества, которая застывает.

За ускорением обращаемости и обмена, за ожесточением движения что-то внутри нас, в каждом из нас, ослабевает вплоть до исчезновения из обращения. И тогда все общество начинает вращаться вокруг этой точки инертности, как если бы полюса нашего мира сблизились и в то же время короткое замыкание повлекло бы мощные эффекты и истощение потенциальной энергии. В данном случае речь идет уже не о кризисе, а о фатальном событии, о замедленной катастрофе.

В этом смысле нет никакого парадокса в том, что экономика с триумфом возвращается на повестку дня. Можно ли еще говорить об экономике? Эта ее кажущаяся актуальность не имеет более того смысла, как в классическом или марксистском анализе. Ибо ее движущей силой не является более ни инфраструктура материального производства, ни суперструктура; это — распад структуры стоимости, дестабилизация рынка и реальной экономики, триумф экономики, освободившейся от идеологий, от общественных наук, от истории, триумф экономики, освобожденной от экономических законов и предоставленной чистой спекуляции, виртуальной экономики, свободной от экономики реальной (конечно же, не в реальном, а в виртуальном смысле, но ведь сегодня правит бал не реальность, а виртуальность); это — триумф вирусной экономики, сходной с другими вирусными процессами. Экономика становится ареной современной жизни именно в качестве арены спецэффектов, непредсказуемых результатов иррациональной игры.

Конец политической экономии, о котором мы так мечтали вместе с Марксом, заключается, в соответствии с неумолимой логикой кризиса капитала, в уничтожении классов и в прозрачности социальных перегородок. Позднее мы мечтали о том же, отрицая сами постулаты и экономической науки и марксистской критики по одной и той же причине: это альтернатива, отрицающая всякий примат экономического или политического; экономика при этом оказывается просто-напросто упраздненной, как эпифеномен, побежденный своим собственным подобием и высшей логикой.

Сегодня даже нет надобности мечтать об этом: политическая экономия кончается на наших глазах, превращаясь в трансэкономику спекуляции, которая забавляется своей собственной логикой — закон стоимости, законы рынка, производство, прибавочная стоимость, классическая логика капитала, но которая не несет в себе более ничего экономического или политического. Это — чистая игра с изменчивыми и произвольными правилами, катастрофическая игра.

Политическая экономия, таким образом, вероятно, подошла к своему концу, но не так, как ожидалось, а разрастаясь до пародии на самое себя. Спекуляция — не прибавочная стоимость, это высшая точка стоимости, не опирающаяся ни на производство, ни на его реальные условия. Это чистая и пустая форма, вымаранная форма стоимости, играющая только на своем поле кругового движения — орбитального вращения. Нарушая свою собственную стабильность самым чудовищным и в какой-то мере ироничным образом, политическая экономия закрывает путь всякой альтернативе. Что можно противопоставить этому чрезмерному вздутию цен, по-своему пополняющему энергию покера, потлача, этому проклятию перехода к эстетической и безумной фазе политической экономии? Этот неожиданный финал, этот фазовый переход, эта кривая продольного изгиба, в сущности, куда оригинальнее всех наших политических утопий.

СУДЬБОНОСНЫЕ СОБЫТИЯ

Итак, чье же совместное торжество имеет место? Терроризм как форма трансполитики, СПИД и рак как форма патологии, транссексуал и трансвестит как единство сексуальной и этической формы. Только эти формы вызывают сегодня возбуждение. Ни сексуальная свобода, ни политические споры, ни органические болезни, ни даже войны с применением

обычного оружия больше никого не интересуют (что касается войн, то здесь сложилась очень удачная ситуация: многие войны не разразились, по-видимому, именно потому, что просто никто не обратил бы на них внимания). Настоящие фантазмы в другом. Они именно в этих трех формах, каждая из которых — результат нарушения основного принципа действия и сочетания эффектов, из него вытекающего. Каждая из этих форм — терроризм, маскарад или рак — соответствует ужесточению политической, сексуальной или генетической игры и в то же время недостаточности и распадению кодов, присущих, соответственно, политике, сексу и генетике.

Все эти вирусные, чарующие, индифферентные формы приумножены вирулентностью изображений, ибо все современные средства массовой информации сами обладают вирусной силой и их вирулентность заразительна. Мы существуем внутри культуры иррадиации тел и умов знаками и образами, и если эта культура дает самые прекрасные результаты, то стоит ли удивляться, что она производит и самые убийственные вирусы? Облучение тел началось в Хиросиме, но оно продолжается подобно нескончаемой эпидемии в виде излучения, испускаемого средствами массовой информации, образами, знаками, программами, сетями.

Мы испорчены так называемыми судьбоносными событиями, событиями сверхзначимыми, этим видом неуместного межконтинентального неистовства, которое затрагивает не отдельные личности, институты, государства, а целые поперечные структуры: секс, деньги, информацию, коммуникации.

СПИД, крах, компьютерные вирусы, терроризм не являются более взаимозаменяемыми, они связаны родственными узами. СПИД — разновидность краха сексуальных ценностей; вычислительные машины сыграли «вирусную» роль в крахе на Уолл-стрит, но поскольку они тоже заражены, их подстерегает крах информационных ценностей. Заражение активно не только внутри каждой системы, оно переходит из одной системы в другую. И весь этот комплекс вращается вокруг одной главной фигуры, которая и есть катастрофа. Разумеется, признаки этого разлада были заметны уже давно: СПИД в эпидемической фазе, крах в образе своего знаменитого предшественника 1929 года и постоянно присутствующего риска, 20-летняя история электронного пиратства и аварий. Но симбиоз всех этих эпидемических форм и их почти одновременный переход в состояние скоротечной аномалии создают необычную ситуацию. В коллективном сознании их эффекты не обязательно одинаковы: СПИД может переживаться как настоящая катастрофа, крах же, напротив, является скорее игрой в катастрофу; что же касается электронного вируса, он может иметь драматические последствия, но от этого он не становится менее смехотворным, не теряет своей ироничности, так что веселье, которое способна вызвать внезапно обрушившаяся на компьютеры эпидемия по крайней мере в воображении, вполне оправдано (речь, разумеется, не идет о специалистах).

Тому же результату способствуют и другие аспекты. Искусство, которое находится всецело во власти подделок, копий, симуляции при наличии в то же время безудержного избыточного рынка искусства, являет собой подлинный метастаз тела, облученного деньгами. Терроризм — ничто так не похоже на цепную реакцию терроризма в нашем облученном обществе (кстати, облученном — чем? Переохлаждением от довольства, безопасности, информации и коммуникаций? Распадом символических ядер, основных правил общественного согласия? Кто знает…), как реакция, вызванная СПИДом, рейдерами [скупщиками акций], фанатиками-программистами. Заразительность терроризма, его притягательность столь же загадочны, как и у всех перечисленных явлений. Когда разработчик логической схемы вводит неверную команду, портящую программное обеспечение, используя разрушительную силу этой команды в качестве средства давления, разве он не берет в заложники операционную систему со всеми ее функциями? И разве рейдеры не захватывают в заложники предприятия, спекулируя на их гибели и воскрешении на бирже? Все эти действия осуществляются по той же модели, что и терроризм (заложники, как и акции, и картины, имеют свою котировку), но с таким же успехом можно и терроризм интерпретировать как модель СПИДа, электронного вируса или биржевых махинаций. Ни

одно из этих явлений не имеет привилегий перед другими — они образуют единое созвездие. Свежей иллюстрацией этому служит дискета с информацией о СПИДе, которая сама содержит вирус, разрушающий компьютеры.

Научная фантастика? Едва ли. В области информации и коммуникаций ценность сообщения та же, что и у чистого движения, поскольку оно переходит от изображения к изображению, с экрана на экран. Все мы наслаждаемся, как спектаклем, этими новыми центробежными ценностями — биржа, рынок искусств, рейдеры. Мы наслаждаемся, видя во всем этом зрелищный, приукрашенный образ капитала, его эстетический психоз. В то же время мы используем тайную патологию этой системы, вирусы, которые прививаются этой прекрасно налаженной машине и разлаживают ее. Но на самом деле вирусы — часть гиперлогической связи наших систем, они заимствуют у этих систем все пути и даже прокладывают новые (компьютерные вирусы приближаются к границам сетей, не предусмотренным самими сетями). Вирусы являются выражением убийственной прозрачности информации, распространяющейся по всему миру. СПИД — это эманация убийственной прозрачности секса в масштабе целых групп. Биржевые крахи — выражение убийственной прозрачности победы одной экономики над другой, молниеносного смещения ценностей, которое и являет собой основу высвобождения производства и товарообмена. Все эти процессы, раз вырвавшись на свободу, вступают в фазу переохлаждения, подобного ядерному переохлаждению, которое и служит ему прототипом. В этом переохлаждении событийных процессов немалая доля привлекательности для нашего времени.

Очарование таится и в непредсказуемости этих процессов. Во всяком случае любое предвидение вызывает желание его опровергнуть. Часто эту роль исполняет событие. Есть события, которые могут предвидеть, но которые позволяют себе любезность не происходить; они являются изнанкой тех событий, которые происходят без предупреждения. Следует спорить по поводу случайных возвратов, как, например, возвращение любви, держать пари по поводу перечня событий. Если вы проиграете, вы, по крайней мере, испытаете удовольствие, бросив вызов объективной глупости вероятностей. Спор — это жизненная функция, часть генетического достояния общества.

Единственная подлинно интеллектуальная функция та, которая играет на противоречии, на иронии, на противоположности, на недостатках, на обратимости, которая никогда не будет повиноваться закону и очевидности. И если сегодня интеллектуалам нечего сказать, то это потому, что ироническая функция ускользнула от них, ибо они твердо стоят на платформе нравственного, политического или философского сознания, тогда как игра изменилась, и вся ирония, вся радикальная критика ушла на сторону случайности, вирулентности, катастрофы, случайных или систематических изменений. Это новое правило игры — принцип неопределенности, преобладающий сегодня во всем и являющийся источником острого интеллектуального и, без сомнения, духовного наслаждения. Например, когда вирусы атакуют компьютеры, что-то в нас содрогается от ликования перед событиями такого рода, но не из-за извращенного пристрастия к катастрофам такого рода и не от влечения к худшему, а потому, что здесь обнажается нечто фатальное, чье появление всегда вызывает у человека прилив экзальтации. Когда речь заходит о реальном, один и тот же знак определяет появление и исчезновение чего-либо; звезды влекут за собой мрак, логика, породившая триумф некоей системы, властна эту систему разрушить.

Фатальность — противоположность случайности. Случайность пребывает на периферии системы, фатальность — в самой ее сердцевине (но фатальное не всегда является бедственным, и непредвиденное может таить в себе очарование). Не исключено, что мы вновь отыщем, пусть в гомеопатических дозах, что-то дьявольское даже в малых аномалиях, в ничтожных отклонениях от правил, которые изменяют к худшему нашу вероятностную вселенную.

Можно ли всякий раз рассчитывать на заданный перечень событий? Естественно, нет. Ведь очевидность никогда не бывает достоверной. Сама истина, в силу своей неоспоримости, теряет свое лицо, сама наука теряет собственное седалище, которое остается

приклеенным к креслу. Предположение о том, что статистическая истина всегда может быть опровергнута — вовсе не школярская гипотеза. Это — надежда, исходящая из самой сути коллективного гения зла.

Когда-то говорили, что массы безмолвствуют. Это молчание было свойственно прошлым поколениям. Ныне массы воздействуют не отступничеством, а заражением. Своей причудливой фантазией они заражают опросы и прогнозы. Определяющими факторами являются уже не воздержание и молчание — проявления нигилистические, а использование массами самих пружин неуверенности. Они великолепно пользовались своим добровольным рабством, отныне они играют на своей невольной неуверенности. Это означает, что без ведома экспертов, которые их изучают, и манипуляторов, которые думают, что влияют на них, массы поняли, что политическое виртуально мертво, но что теперь им дано сыграть в новую игру — столь же возбуждающую, как игра на колебаниях биржи, игру, где они с необычайной легкостью могут подчинить себе общественность, харизмы, престиж, размер изображений. Их умышленно развратили и лишили убеждений, чтобы сделать из них новую добычу теории вероятностей; сегодня они искажают все изображения и насмехаются над политической достоверностью. Они играют в то, во что их научили играть, — в биржу цифр и изображений, во всеобщую спекуляцию, играют с присущим спекулянтам аморализмом. Перед лицом глупой уверенности и непреклонной банальности цифр массы, с точки зрения социологии, воплощают в себе принцип неопределенности. Если система власти организует, как умеет, статистический порядок (а социальный порядок сегодня является статистическим), то массы втайне заботятся о статистическом беспорядке.

Именно эта предрасположенность к чему-то ироническому, дьявольскому, обратимому, вирулентному позволяет надеяться на какие-то небывалые последствия.

В современном обществе происходят только недостоверные, маловероятные события. Раньше предназначение события заключалось в том, чтобы произойти, ныне — в том, чтобы быть произведенным. Оно всегда происходит в виде виртуального артефакта, травести опосредованных форм.

Информационный вирус, за 5 часов разрушивший научную и военную сеть США, быть может был ничем иным, как экспериментом самих американских военных спецслужб. Так или иначе, событие одновременно и свершившееся, и мнимое, будь то подлинный несчастный случай, свидетельствующий о несомненной вирулентности вирусов, или же стопроцентная симуляция, говорящая о том, что сегодня наилучшая стратегия — это стратегия рассчитанной дестабилизации и обмана. Где же разгадка этой истории? Если даже гипотеза об экспериментальной симуляции верна, она вовсе не гарантирует владение ситуацией. Вирус-тест может стать вирусом-разрушителем. Никто не в состоянии контролировать цепные реакции. Мы имеем дело не с инсценированным несчастным случаем, а с несчастным случаем инсценировки. С другой стороны, известно, что любой несчастный случай или природная катастрофа могут быть истолкованы как террористический акт и наоборот. Чрезмерности гипотез нет предела.

В соответствии с вышесказанным вся система в целом является террористической. Ибо террор — не столько ужас насилия и несчастий, сколько ужас неуверенности и устрашения. Некогда группа, инсценировавшая вооруженное ограбление, навлекала на себя более суровое наказание, чем то, которое полагалось за реальное ограбление: покушение на сам принцип реальности представляет собой более серьезное нарушение, чем реальная агрессия.

Из всего этого возникает огромная неуверенность, которая пребывает в самом сердце операционной эйфории. Науки предвосхитили эту паническую ситуацию: исчезновение соответствующих позиций субъекта и объекта в экспериментальном интерфейсе порождает конечный статус неопределенности в том, что касается реальности объекта и объективной реальности знания. И сама наука, кажется, попала под влияние странных аттракторов. То же самое можно сказать и об экономике, чье воскрешение, видимо, связано с полной непредсказуемостью, царящей в ней, и о внезапной экспансии информационной техники, связанной с неопределенностью имеющихся знаний.

Являются ли все эти технические средства получающей стороной реального мира? Весьма сомнительно. Цель науки и техники скорее в том, чтобы столкнуть нас с совершенно нереальным миром, существующим вне принципа истины и реальности. Современная революция — это революция неопределенности.

Мы весьма далеки от того, чтобы принять ее. Парадокс состоит в том, что мы надеемся ее избежать, наращивая информацию и коммуникации и делая тем самым неопределенность в отношениях еще более острой. Увлекательный бег вперед: погоня за техникой и ее порочными последствиями, за человеком и продуктом его клонирования, бег по ленте Мебиуса только начинается.

ОПЕРАЦИОННАЯ БЕЛИЗНА

Парадоксально, но эта неуверенность является результатом избытка позитивного и неуклонного снижения уровня негативного. Нашим обществом овладела какая-то разновидность белокровия, нечто подобное разложению негативного в залитой светом эйфории. Ни Революция, ни философия Просвещения, ни критическая утопия не способствовали преодолению противоречий, и если те или иные проблемы все же решались, то это происходило только за счет нарушения негативного баланса, рассеивания отрицательной энергии в сторону симуляции, целиком направленной на позитивность и искусственность, путем установления окончательной прозрачности. Это немного напоминает человека, потерявшего свою тень: то ли он стал прозрачным от света, который проходит сквозь его тело, то ли освещен со всех сторон и беззащитен под лучами всевозможных источников света. Так и мы словно освещены со всех сторон техникой, образами, информацией и, не имея возможности преломить этот свет, тем самым обречены на белую деятельность, на белую общность, на побеление наших тел, как и денег, мозга, памяти, на общую антисептику. Мы обеляем насилие, историю, осуществляя гигантский маневр эстетической хирургии, так что не существует более ничего, кроме общества и индивидуумов, которым возбраняются необузданность и негативные проявления. Все, что невозможно опровергнуть как таковое, обречено на нерешительность и бесконечное притворство.

Мы в полной мере испытываем на себе некое хирургическое принуждение, направленное на избавление вещей от их негативных черт и на то, чтобы они достигли идеального состояния посредством синтезирующей операции. Это — хирургия эстетическая: случайность лица, его красота или уродство, его отличительные, в том числе и отталкивающие черты — все это изменяется и доводится до совершенства — до идеального лица, полученного хирургическим путем. Претерпит изменения и знак Зодиака, под которым вы родились; он будет приведен в гармонию с вашим образом жизни. В пока что утопическом, но не лишенном будущего проекте Института зодиакальной хирургии предлагается посредством нескольких соответствующих манипуляций наделить вас тем знаком Зодиака, на котором вы остановите свой выбор.

И ваш пол — та малая часть вашей судьбы, на которой до сих пор лежал отпечаток фатальности, — также может быть изменен согласно вашей прихоти. Мы уже не говорим о хирургических операциях, которые будут производиться над эстетикой растительного мира, над генами, над историческими событиями (так, например, революция будет скорректирована и истолкована в смысле прав человека). Все будет синхронизировано согласно критериям соответствия и оптимальной совместимости. Повсеместно будет достигнута эта нечеловеческая формализация лица, слова, пола, тела, желания, общественного мнения. Любое проявление фатальности или негативности будет уничтожено всеобъемлющим функционированием пластической хирургии в угоду чему-то подобному улыбке смерти в похоронном бюро, во имя общего искупления тяготеющего бремени астральных знаков.

Все должно быть посвящено этому операционному перерождению вещей. Производит

уже не сама Земля, предназначение которой — производить; уже не труд порождает богатство — нет более вечного симбиоза Земли и труда. Теперь капитал заставляет Землю производить, а труд — порождать богатство. Труд не есть больше действие; теперь это операция. Потребление уже не является простым и чистым наслаждением благами, оно становится чем-то вынуждающим наслаждаться — смоделированной операцией, разнесенной по графам ранжированного набора предметов-знаков.

Общение теперь не сам разговор, а то, что заставляет говорить. Информация — не знание, а то, что заставляет знать. Вспомогательный глагол «заставлять» указывает на то, что речь идет именно об операции, а не о действии. Реклама и пропаганда уже не претендуют на то, чтобы их принимали на веру, — они стремятся заставить верить. Участие не является более ни спонтанным актом, ни проявлением социальной активности — оно всегда индуцировано некими замыслами или махинациями. Участие — это то, что заставляет действовать, подобно процессу, приводящему в движение.

Сегодня даже желание передается посредством неких моделей желания, способных пробудить его, каковыми, например, являются убеждение и разубеждение — если все категории типа хотеть, мочь, верить, знать, действовать, желать вообще имеют еще какой-то смысл; ибо их смысл был деформирован и истончен вспомогательным глаголом «заставлять». Повсюду активный глагол уступил место фактитивному вспомогательному, само действие при этом имеет меньше значения, чем тот факт, что оно было произведено, индуцировано, вызвано, внушено, оснащено. Вместо познания должно остаться лишь подчинение необходимости познавать, вместо речи — подчинение необходимости говорить, т. е. акт коммуникации. У действия остается лишь результат интерактивного контакта с монитором, снабженным системой обратной связи. Операция, в отличие от действия, непременно регулируется в процессе своего протекания, в противном случае контакт отсутствует. Есть речь, но нет контакта. Контакты могут быть операционными и неоперационными. Информация также может быть операционной и неоперационной.

Все наши категории вошли, таким образом, в эру неестественного, где речь идет не о желании, но о том, чтобы заставить желать, не о действии, но о том, чтобы заставить делать, не о стоимости, но о том, чтобы заставить стоить (как это видно на примере любой рекламы), не о познании, но о том, чтобы заставить знать, и, наконец, последнее по порядку, но не по значению — не столько о наслаждении, сколько о том, чтобы заставить наслаждаться. И в этом — большая проблема нашего времени: ничто не является само по себе источником наслаждения — надо заставить наслаждаться и самого себя, и других. Наслаждение становится актом коммуникации: ты принимаешь меня, я принимаю тебя, происходит обмен наслаждением — один из способов взаимодействия. Если бы кто-нибудь захотел наслаждения без коммуникации, его сочли бы глупцом. Но разве коммуникативные машины способны наслаждаться? Это уже другой вопрос, но если представить себе машины, способные наслаждаться, то они должны быть сделаны по образу и подобию коммуникативных машин. Такие машины, однако, существуют: это наши собственные тела, ориентированные на наслаждения, наши тела, приспособленные к наслаждению посредством торжествующего хитроумного косметического искусства.

Происходит нечто подобное медленному бегу трусцой, который также являет собой исполнение. Это не есть собственно бег — бегун заставляет свое тело бежать. Это игра, опирающаяся на абстрактное выполнение телом некоторого действия, изнуряющего и разрушающего тело. "Вторичное состояние" бега трусцой буквально соответствует этой второй операции, этому механическому перемещению. Наслаждение или боль, претерпеваемые при этом, не схожи с теми, которые испытывает тело при спортивных или иных физических нагрузках. Здесь — чувство дематериализации и бесконечного действия (тело бегуна подобно машине Тингели). Здесь высшая точка наслаждения и восторг исполнения. То, что заставляет бежать, очень быстро удваивает самое себя за счет позволения бежать; тело при этом оказывается загипнотизированным в своем стремлении к исполнению, осуществляя свой одинокий бег в отсутствии субъекта, подобно

сомнамбулической холостой машине (другая аналогия — «удесятеряющая» машина Джерри, где мертвые в одиночестве продолжают нажимать на педали). Нескончаемость этого бега трусцой (как и психоанализа) схожа с бесконечным исполнением движения без цели, хотя бы иллюзорной. У того, что не имеет конца, нет причины для остановки.

Нельзя больше утверждать, что цель есть «форма»; это — идеал 60 — 70-х годов. Тогда «форма» была функциональной, она выражала стоимость товара или знака — тела, его продуктивности или престижа. Ныне исполнение оперативно и ориентировано не на форму тела, а на его формулу, его уравнение, его виртуальность как операционное поле, на нечто, заставляющее функционировать, ибо любая машина требует, чтобы ее заставляли работать (загрузили работой), любой сигнал требует чтобы его включили. Все это очень просто. Отсюда возникает глубокая пустота содержания действия. Нет, кажется, ничего более бессмысленного, чем эта манера бежать, без конца реализуя способность бегать. Но люди бегут…

То же безразличие к содержанию, та же навязчивая и операционная исполнительность и бесконечность характеризуют и современное использование компьютера: здесь человек не думает в том же смысле, в каком он не бежит во время бега трусцой. Он лишь заставляет свой разум функционировать, как заставляет свое тело бежать. Операция здесь тоже виртуально бесконечна: пребывание "лицом к лицу" с вычислительной машиной имеет не больше оснований для прекращения, чем "телом к телу" при беге трусцой. В одном случае мы имеем вид гипнотического удовольствия, поглощения или экстатического рассасывания телесной энергии, в другом — энергии умственной; оба вида по существу идентичны: там электростатика эпидермиса и мышц, здесь — электростатика экрана.

И бег трусцой, и компьютеризация могут быть названы дурманящими наркотическими средствами в той мере, в какой сам наркотик выступает в роли проводника исполнения: тем, что заставляет наслаждаться, мечтать, чувствовать. Он (наркотик) не является искусственным в смысле вторичного состояния тела, противопоставленного естественному состоянию; это — замена химического протеза, умственная хирургия исполнения, пластическая хирургия восприятия.

Не случайно подозрение в систематическом приеме допингов сегодня связывается со спортивным исполнением. Различные виды исполнения прекрасно согласуются между собой. Исполнителями должны стать не только нервы и мышцы, но и нейроны и клетки; даже бактерии должны стать операционными. Речь уже идет не о том, чтобы бросать, бежать, плавать, прыгать, но о том, чтобы вывести спутник, именуемый телом, на его искусственную орбиту. Тело спортсмена становится и пусковым устройством, и спутником, оно управляется программой, заложенной во внутренний микрокомпьютер (а не волей, направленной на преодоление препятствий). Результатом такого операционного принуждения является операционный парадокс: лучше всего ничего собой не представлять, чтобы обязывать кого-то являть собой ценность; не нужно что-либо знать или производить, чтобы вынуждать к этому других; не нужно иметь повода для разговора, чтобы общаться.

Все это присутствует в самой логике вещей: известно, что для того, чтобы рассмешить, лучше самому не быть смешным. Что же касается коммуникаций и информации, здесь последствия неумолимы: для того, чтобы информация была передана как можно лучше и в кратчайший срок, надо, чтобы ее содержание находилось где-то на грани очевидного и несущественного. Информация должна состоять из фактов, которые можно узнать из телефонного разговора, из передач СМИ или других, чуть более серьезных источников. «Хорошие» передачи, т. е. такие, которые формируют «хорошее» общество, претерпевают уничтожение своего содержания [даже сам термин "хорошее общество" не имеет больше смысла, потому что от «социального» осталось лишь то, что сделали социальным; поэтому следовало бы использовать выражения типа "искусственно созданный социум (socialite)" или "искусственно созданное общество (societalite)" — эти чудовищные псевдонимы, ассоциирующиеся с хирургической операцией, достаточно верно отражают понятия, которые они призваны отражать. Нечто подобное говорил Франсуа Жорж о слове "сексуальность"].

Хорошая информация та, что пропускается сквозь цифровую четкость знания, хорошая реклама — та, что демонстрирует никчемность или, по меньшей мере, умаляет качество рекламируемого продукта, подобно тому, как мода демонстрирует очертания женского тела, а власть — ничтожество того, кто ее осуществляет.

А что было бы, если бы каждая реклама восхваляла не продукт, а саму рекламу? Если бы информация отсылала не к событию, а к возвеличению роли самой информации как события? Если бы коммуникации предназначались не для отправления посланий, а для увеличения значимости самих коммуникаций, словно некоего мифа?

КСЕРОКС И БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Если люди придумывают или создают «умные» машины, то делают это потому, что в тайне разочаровались в своем уме или изнемогают под тяжестью чудовищного и беспомощного интеллекта; тогда они загоняют его в машины, чтобы иметь возможность играть с ним (или на нем) и насмехаться над ним. Доверить свой интеллект машине — значит освободиться от всякой претензии на знание, подобно тому, как делегирование власти политикам позволяет нам смеяться над всякой претензией на власть.

Если люди мечтают об оригинальных и «гениальных» машинах, то это потому, что они разочаровались в своей самобытности или же предпочитают от нее отказаться и пользоваться машинами, которые встают между ними. Ибо то, что предлагают машины, есть манифестация мысли, и люди, управляя ими, отдаются этой манифестации больше, чем самой мысли.

Машины не зря называют виртуальными: они держат мысль в состоянии бесконечного напряженного ожидания, связанного с краткосрочностью исчерпывающего знания. Действие мысли не имеет определенного срока. Не представляется возможным даже ставить вопрос о мысли как таковой, так же, как вопрос о свободе для будущих поколений; эти вопросы проходят сквозь жизнь, словно сквозь воздушное пространство, сохраняя при этом связь со своим центром, подобно тому, как Люди Искусственного Интеллекта проходят сквозь свое умственное пространство, привязанные к компьютеру. Человек Виртуальный, неподвижно сидящий перед вычислительной машиной, занимается любовью посредством экрана и приучается слушать лекции по телевизору. Он начинает страдать от дефектов двигательной системы, несомненно связанных с мозговой деятельностью. Именно такой ценой приобретает он операционные качества. Подобно тому, как мы можем предположить, что очки или контактные линзы в один прекрасный день станут интегрированным протезом, который поглотит взгляд, мы можем также опасаться, что искусственный интеллект и его технические подпорки станут протезом, не оставляющим места для мысли.

Искусственный разум лишен способности мышления, потому что он безыскусен. Подлинное искусство — это искусство тела, охваченного страстью, искусство знака в обольщении, двойственности в жестах, эллипсиса в языке, маски на лице, искусство фразы, искажающей смысл и потому называемой остротой.

Эти разумные машины являются искусственными лишь в самом примитивном смысле слова, в смысле разложения, как по полочкам, операций, связанных с мыслью, сексом, знанием на самые простые элементы, с тем, чтобы потом заново их синтезировать в соответствии с моделью, воспроизводящей все возможности программы или потенциального объекта. Искусство же не имеет ничего общего с воспроизводством реальности, оно сродни тому, что изменяет реальность. Искусство — это власть иллюзии. А эти машины обладают лишь наивностью счета; единственные игры, которые они могут предложить, — сочетания и перестановки. В этом смысле они могут быть названы не только виртуальными, но и добродетельными: они не поддаются даже собственному объекту, не обольщаются даже собственным знанием. Их добродетели — четкость, функциональность, бесстрастность и безыскусность. Искусственный Разум — одинокая машина, обреченная на безбрачие.

Что всегда будет отличать деятельность человека от работы даже самой умной машины

— так это упоение и наслаждение, получаемое в процессе этой деятельности. Изобретение машин, способных испытывать удовольствие, к счастью, пока находится за пределами возможностей человека. Он придумывает всякого рода устройства, содействующие его забавам, но он не в состоянии изобрести такие машины, которые были бы способны вкушать наслаждение. При том, что он создает машины, которые умеют работать, думать, перемещаться в пространстве лучше, чем он сам, не в его силах найти информационно-техническую замену удовольствия человека, удовольствия быть человеком. Для этого нужно, чтобы машины обладали мышлением, присущим человеку, чтобы они сами могли изобрести человека, но этот шанс для них уже упущен, ибо человек сам изобрел их. Вот почему человек способен превзойти самого себя такого, каковым он является, а машинам этого никогда не будет дано. Даже самые «умные» машины являют собой никак не более того, что они есть на самом деле, за исключением, может быть, случаев аварии или поломки, смутное желание которых всегда можно вменить им в вину. Машины не обладают теми смешными излишествами, тем избытком жизни, который у людей является источником наслаждения или страдания, благодаря которому люди способны выйти из очерченных рамок и приблизиться к цели. Машина же, к своему несчастью, некогда не превзойдет свою собственную операцию, и, не исключено, что этим можно объяснить глубокую печаль компьютеров. Все машины обречены на холостое, одинокое существование. (Весьма любопытную аномалию представляет собой, однако, недавнее вторжение компьютерных вирусов: кажется, что машины испытывают злобное удовольствие, порождая извращенные эффекты, захватывающие, иронические перипетии. Быть может, прибегнув к этой вирусной патологии, искусственный разум пародирует самого себя и таким образом закладывает основу некоей разновидности подлинного интеллекта?)

Безбрачие машин влечет за собой безбрачие Человека Телематического. Подобно тому, как он созерцает перед компьютером с процессором World картину своего мозга и разума, Человек Телематический, находясь перед минителем (minitel), наблюдает фантасмагорические зрелища и видит картины виртуальных наслаждений. В обоих случаях, будь то разум или наслаждение, он загоняет эти изображения через интерфейс в машину. При этом целью человека является не его собеседник — заэкранный мир машины, подобный Зазеркалью. Самоцель — сам экран как средство общения. Интерактивный экран преобразует процесс общения в равнозначный процесс коммутации. Секрет интерфейса в том, что собеседник человека ("Другой") виртуально остается неизменным, поскольку все несвойственные ему проявления тайком поглощает машина. Таким образом, наиболее правдоподобный цикл коммуникации — это цикл минителистов, которые переходят от экрана к телефонным разговорам, затем — к встречам, но дальше-то что делать? Итак, мы звоним друг другу, но затем возвращаемся к минителю, этой чистой форме коммуникации, которая, будучи одновременно и тайной, и явной, представляет собой эротический образ. Потому что без этой близости экрана и электронного текста филигранной работы перед нами бы открылась новая платоновская пещера, где мы увидели бы дефилирующие тени плотских наслаждений.

Прежде мы жили в воображаемом мире зеркала, раздвоения, театральных подмостков, в мире того, что нам не свойственно и чуждо. Сегодня мы живем в воображаемом мире экрана, интерфейса, удвоения, смежности, сети. Все наши машины — экраны, внутренняя активность людей стала интерактивностью экранов. Ничто из написанного на экранах не предназначено для глубокого изучения, но только для немедленного восприятия, сопровождаемого незамедлительным же ограничением смысла и коротким замыканием полюсов изображения.

Чтение с экрана осуществляется отнюдь не глазами. Это нащупывание пальцами, в процессе которого глаз двигается вдоль бесконечной ломаной линии. Того же порядка и связь с собеседником в процессе коммуникации, и связь со знанием в процессе информирования: связь осязательная и поисковая. Голос, сообщающий информацию о новостях, или тот, который мы слышим по телефону, есть голос осязаемый,

функциональный, ненастоящий. Это уже не голос в собственном смысле слова, как и то, посредством чего мы читаем с экрана, нельзя назвать взглядом.

Изменилась вся парадигма чувствительности. Осязаемость не является более органически присущей прикосновению. Она просто означает эпидермическую близость глаза и образа, конец эстетического расстояния взгляда. Мы бесконечно приближаемся к поверхности экрана, наши глаза словно растворяются в изображении. Нет больше той дистанции, которая отделяет зрителя от сцены, нет сценической условности. И то, что мы так легко попадаем в эту воображаемую кому экрана, происходит потому, что он рисует перед нами вечную пустоту, которую мы стремимся заполнить. Близость изображений, скученность изображений, осязаемая порнография изображений… Но на самом деле они находятся на расстоянии многих световых лет. Это всегда лишь телеизображения. То особое расстояние, на которое они удалены, можно определить, как непреодолимое для человеческого тела. Языковая дистанция, отделяющая от сцены или зеркала, преодолима и потому человечна. Экран же виртуален и непреодолим. Поэтому он годится лишь для совершенно абстрактной формы общения, каковой и является коммуникация.

В пространстве коммуникаций слова, жесты, взгляды находятся в бесконечной близости, но никогда не соприкасаются. Поскольку ни удаленность, ни близость не проявляются телом по отношению к тому, что его окружает, и экран с изображениями, и интерактивный экран, и телематический экран — все они расположены слишком близко и в то же время слишком удалены: они слишком близко, чтобы быть настоящими, ибо не обладают драматической напряженностью сцены, и слишком далеко, чтобы быть вымышленными, ибо не обладают свойствами, граничащими с искусственностью. Они создают, таким образом, некое измерение, не являющееся человеческим, измерение эксцентрическое, которому соответствуют деполяризация пространства и неразличимость очертаний тела.

Нет топологии прекрасней, чем топология ленты Мебиуса, для определения этой смежности близкого и далекого, внутреннего и внешнего, объекта и субъекта на одной спирали, где переплетаются экран нашей вычислительной машины и ментальный экран нашего собственного мозга. Именно такова модель возвращения информации и коммуникации на круги своя в кровосмесительной ротации, во внешней неразличимости субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, вопроса и ответа, события и образа и т. д., модель, которую можно представить только в виде петли, подобной математическому знаку бесконечности.

То же самое происходит и в наших отношениях с «виртуальными» машинами. Человек Телематический предназначен аппарату, как и аппарат ему, по причине их сплетенности друг с другом, преломления одного в другом. Машина делает лишь то, чего от нее требует человек, но взамен человек выполняет то, на что запрограммирована машина. Он — оператор виртуального мира, и, хотя с виду его действия состоят в приеме информации и связи, на самом деле он пытается изучать виртуальную среду программы подобно тому, как игрок стремится постичь виртуальный мир игры. Например, при использовании фотоаппарата виртуальные свойства присущи не субъекту, который отражает мир в соответствии со своим видением, а объекту, использующему виртуальную среду объектива. В таком контексте фотоаппарат становится машиной, которая искажает любое желание, стирает любой замысел и допускает проявление лишь чистого рефлекса производства снимков. Даже взгляд исчезает, ибо он заменяется объективом, который является сообщником объекта и переворачивает видение. Это помещение субъекта в "черный ящик", предоставление ему права на замену собственного видения безличным видением аппарата поистине магическое. В зеркале сам субъект играет роль своего изображения. В объективе и, вообще, на экранах именно объект приобретает силу, наделяя ею передающие и телематические технические средства.

Вот почему сегодня возможны любые изображения. Вот почему объектом информатизации, т. е. коммуникации посредством осязательных операций, сегодня может

быть все, что угодно, ибо любой индивидуум может стать объектом коммутации согласно своей генетической формуле. (Вся работа будет заключаться в том, чтобы исчерпать виртуальные возможности генетического кода; в этом — один из главных аспектов искусственного разума.)

Более конкретно это означает, что нет больше ни действия, ни события, которые не преломлялись бы в техническом изображении или на экране, ни одного действия, которое не испытывало бы желания быть сфотографированным, заснятым на пленку, записанным на магнитофон, которое не стремилось бы слиться с этой памятью и приобрести внутри нее неисчерпаемую способность к воспроизводству. Нет ни одного действия, которое не стремилось бы к совершенству в виртуальной вечности — не в той, что длится после смерти, но в вечности эфемерной, созданной ветвлениями машинной памяти. Виртуальное принуждение состоит в принуждении к потенциальному существованию на всех экранах и внутри всех программ; оно становится магическим требованием. Это — помутнение разума черного ящика.

Где же во всем этом свобода? Ее не существует. Нет ни выбора, ни возможности принятия окончательного решения. Любое решение, связанное с сетью, экраном, информацией и коммуникацией является серийным, частичным, фрагментарным, нецелостным. Только последовательность и расположение в порядке очередности частичных решений и предметов являют собой путь следования как для фотографа и Человека Телематического, так и для нашего столь тривиального чтения с телеэкрана. Структура всех наших жестов квантована: это лишь случайное соединение точечных решений. И гипнотическое очарование всего этого исходит от помутнения разума черного ящика, от этой неуверенности, которая кладет конец нашей свободе.

Человек ли я? Машина ли я? На эти антропологические вопросы ответа больше нет. Это в какой-то мере является концом антропологии, тайком изъятой машинами и новейшими технологиями. Неуверенность, порожденная усовершенствованием машинных сетей, подобно неуверенности в собственной половой принадлежности (Мужчина ли я? Женщина ли я? И что вытекает из различия полов?) является следствием фальсификации техники бессознательного и техники тела, также как неуверенность науки в отношении статуса предмета есть следствие фальсификации анализа в науках о микромире.

Человек я или машина? В отношении традиционных машин никакой двусмысленности нет. Работник всегда остается в определенной мере чуждым машине и, таким образом, отвергается ею. И он сохраняет это свое драгоценное качество — быть отверженным. В то же время новые технологии, новые машины, новые изображения, интерактивные экраны вовсе меня не отчуждают. Вместе со мной они составляют целостную окружность. Видео, телевидение, компьютер, минитель (minitel) — эти контактные линзы общения, эти прозрачные протезы — составляют единое целое с телом, вплоть до того, что становятся генетически его частью, как кардиостимулятор или знаменитая «папула» П. К. Дика — маленький рекламный имплантант, пересаженный в тело с рождения и служащий сигналом биологической тревоги. Все наши контакты с сетями и экранами, вольные или невольные, являются отношениями того же порядка: отношения порабощенной (но не отчужденной) структуры, отношения в пределах целостной окружности. Трудно сказать, идет ли здесь речь о человеке или о машине.

Можно предположить, что фантастический успех искусственного разума вызван тем, что этот разум освобождает нас от разума природного; гипертрофируя операционный процесс мышления, искусственный разум освобождает нас от двусмысленности мысли и от неразрешимой загадки ее отношений с миром. Не связан ли успех всех этих технологий с функцией заклинания злых духов и устранения извечной проблемы свободы? Какое облегчение! С виртуальными машинами проблем более не существует. Вы уже не являетесь ни субъектом, ни объектом, ни свободным, ни отчужденным, ни тем, ни другим: вы все тот же, пребывающий в состоянии восхищения от коммутаций. Свершился переход из ада иного к экстазу одного и того же, из чистилища изменений в искусственный рай сходства.

Некоторые скажут, что это еще худшее рабство, но Человек Телематический не может быть рабом, ибо не имеет собственной воли. Нет больше отторжения человека человеком, есть только гомеостаз человека с машиной.

ПРОФИЛАКТИКА И ВИРУЛЕНТНОСТЬ

Растущая мозговая деятельность машин должна, естественно, повлечь за собой технологическое очищение тел. Тела смогут мало-помалу рассчитывать на свои антитела, и, следовательно, придется защищать их снаружи. Искусственное очищение всей окружающей среды восполнит ослабление внутренней иммунной системы людей. Если иммунная система слабеет, то происходит это потому, что необратимая тенденция, часто именуемая прогрессом, ведет к тому, чтобы лишить человеческое тело и разум их защитных свойств, чтобы переместить их в техническую область искусственного существования. Лишенный своих защитных свойств, человек неизбежно становится уязвимым для науки и техники так же, как, будучи лишенным страстей, он неизбежно становится уязвимым для психологии и терапии, которые будут непременно сопровождать его; избавившись от своих аффектов и болезней, человек неизменно становится уязвимым для медицины.

Ребенок, находящийся словно под стеклянным колпаком, облаченный медициной в скафандр, предлагаемый НАСА, защищенный от всех инфекций искусственным иммунитетом, ребенок, которого мать ласкает через стеклянные перегородки, который смеется и растет в своей неземной атмосфере под наблюдением науки — это экспериментальный собрат ребенка-волка, ребенка-дикаря, принятого волками в свою стаю. Сегодня заботу о детях, нуждающихся в попечительстве, берут на себя электронно-вычислительные машины.

Этот ребенок, облаченный в скафандр, ребенок-пузырь, является прообразом будущего, всеобщей антисептики, повсеместного избавления от зародышей, являющих собой биологическую форму прозрачности. Этот ребенок — символ существования в вакууме, существования, бывшего до сих пор привилегией бактерий и микроорганизмов в лабораториях, а теперь постепенно становится нашим существованием. Мы окажемся зажатыми в пустоте, словно пластины, мы будем законсервированы, заморожены в пустоте и мы умрем в пустоте, как умирают жертвы чрезмерного терапевтического усердия, думая и размышляя в пустоте, прославляемой искусственным разумом.

Не будет абсурдным предположить, что уничтожение человека начинается с уничтожения его зародышей. Потому что человек, такой, как он есть, со своими настроениями, страстями, смехом, полом, секрециями, сам являет собой лишь маленький грязный зародыш, иррациональный вирус, нарушающий гармонию вселенской прозрачности. И как только он будет изгнан, как только будет положен конец всякому социальному и бактериологическому загрязнению, во вселенной смертельной чистоты и смертельной фальсификации останется один лишь вирус печали.

Под угрозой оказывается и мышление, будучи на свой лад сетью антител и естественной иммунной защитой. Вероятно, оно будет благополучно заменено электронной церебрально-спинальной капсулой, лишенной всякого животного и метафизического рефлекса. Даже при отсутствии технологии создания ребенка-пузыря мы уже сейчас живем в таком пузыре, в той кристаллической сфере, которая окружает некоторые персонажи Жерома Боша, в прозрачном конверте, в котором мы укрылись, одновременно обделенные и сверхзащищенные, обреченные на искусственный иммунитет и бесконечное переливание крови, приговоренные к смерти при малейшем контакте с внешним миром.

Таким образом, мы все теряем свою защиту, мы все в потенции обречены на иммунный дефицит.

Все интегрированные и сверхинтегрированные системы, технические системы, социальная система, само мышление в искусственном разуме и его производных стремятся к этой границе иммунного дефицита. Нацеленные на устранение любой внешней агрессии, они

выделяют свою собственную внутреннюю вирулентность, свою пагубную обратимость. Достигнув некоторой точки насыщения, они берут на себя, сами того не желая, эту функцию изменения направления, искажения, стремясь при этом к самоуничтожению. Даже сама их прозрачность угрожает им — кристалл мстит за себя.

В сверхзащищенном пространстве тело теряет всю свою защиту. В операционных помещениях профилактика такова, что ни один микроб, ни одна бактерия не может выжить. Но именно здесь можно увидеть возникновение таинственных, аномальных вирусных болезней. Потому что вирусы начинают распространяться, как только для них образуется свободное пространство. В мире, где уничтожены старые инфекции, в идеальном клиническом мире появляется неосязаемая, неумолимая патология, рожденная самой дезинфекцией.

Патология 3-го типа. Подобно тому, как в нашем обществе мы имеем дело с новым насилием, рожденным из парадокса умиротворенного и вседозволяющего общества, мы являемся свидетелями новых болезней — болезней тел, сверх меры окруженных искусственной медицинской или информационной защитой, уязвимой для всех вирусов и для самых неожиданных и порочных цепных реакций. Сегодня мы имеем дело с патологией, которая обнаруживает не несчастные случаи или анемию, но аномалию. Происходит совершенно то же самое, что и в социальной жизни, где те же причины вызывают те же порочные эффекты, те же непредвиденные дисфункции, сравнимые с генетическим беспорядком клеток, и здесь обусловленным сверхзащитой, сверхкодированием, сверхобрамлением. Социальная система, как и биологическое тело, теряет свою естественную защиту по мере ее подделки и замены. Медицине будет очень трудно преодолеть эту небывалую патологию, потому что она сама составляет часть системы сверхзащиты, протекционистского и профилактического усердия, направленного на тело. Как не существует, по всей очевидности, политического решения проблемы терроризма, так нет и биологического решения проблемы СПИДа и рака — и по той же причине: речь идет об аномальных симптомах, пришедших из глубины самой системы и противостоящих с реакционной вирулентностью политическому сверхобрамлению социального тела или биологическому сверхобрамлению тела как такового.

На начальной стадии этот злобный гений «искажения» принимает форму несчастного случая, поломки, аварии. Последующей стадии соответствует вирусная, эпидемическая форма, вирулентность, которая проходит через всю систему и против которой система беззащитна, потому что это искажение порождено самой ее интеграцией.

Вирулентность овладевает телом, сетью или системой, когда эта система избавляется от всех своих негативных элементов и разлагается в комбинацию простых элементов. Именно потому, что окружности и сети становятся виртуальными существами, не имеющими тела, вирусы начинают неистовствовать и эти «нематериальные» машины оказываются гораздо более уязвимы, чем традиционные механизмы. Виртуальное и вирусное начала неразделимы. Именно потому, что само тело становится нетелом, превращаясь в виртуальную машину, вирусы овладевают им.

Вполне логично, что СПИД и рак стали прототипами нашей современной патологии и всевозможных убийственных вирусов. Когда мы доверяем свое тело одновременно протезам-заменителям и генетическим фантазиям, происходит нарушение систем защиты нашего организма. Это фрактальное тело, предназначенное для расширения своих собственных внешних функций, в то же время обречено на внутреннюю редукцию собственных клеток. Оно метастазирует: внутренние биологические метастазы симметричны внешним, каковыми являются протезы-заменители, сети, ответвления. По мере развития вируса ваши собственные антитела разрушают ваш организм. Эта лейкемия живого существа съедает его собственную защиту, и потому нет больше угроз, нет бедствий. Абсолютная профилактика убийственна. Медицина не поняла этого, она трактует рак и СПИД как обычные болезни, тогда как эти заболевания рождены триумфом профилактики, и медицины, исчезновением болезней, ликвидацией патогенных форм. Патология 3-го типа

недоступна всей фармакопее предшествующей эпохи (эпохи видимых причин и механических эффектов). Все болезни сразу приобретают характер иммунного дефицита (это немного похоже на то, что все виды насилия приобретают характер терроризма). В какой-то мере атака и вирусная стратегия заменили и работу подсознания.

Подобно тому, как человек, задуманный как осязательный механизм, становится объектом вирусных болезней, логические сети становятся мишенью электронных вирусов. Здесь также нет ни профилактики, ни эффективной терапии; метастазы захватывают всю сеть, лишенные символов машинные языки оказывают вирусам не больше сопротивления, чем лишенные символов тела. Исход аварий, традиционных несчастных случаев зависели от доброй старой медицины, способной восстанавливать; внезапные срывы и аномалии, неожиданное «предательство» антител неизлечимы. Мы умели лечить болезни, имеющие форму, но мы остаемся беззащитными перед патологией формулы. Повсеместно жертвуя естественным равновесием форм в пользу искусственного совпадения кода и формулы, мы рискуем вызвать куда более значительный беспорядок, нестабильность, не имеющую прецедента. Создав телесную оболочку и язык для искусственных систем, предназначенных для искусственного интеллекта, мы приговорили их не только к искусственной глупости, но и ко всякого рода вирусным искажениям, порожденным этой беспомощной искусственностью.

Наличие вирусов есть патология замкнутых и целостных окружностей, скученности и цепной реакции. Это патология инцеста в широком и метафорическом смысле. Отсутствие изменений порождает другое, неуловимое, но абсолютное изменение, которое и являет собой вирус. Тот, в чьей жизни не происходит изменений, погибает от этого.

Тот факт, что СПИД затронул сначала гомосексуалистов и наркоманов, объясняется кровосмешением среди этих групп, функционирующих в своем замкнутом кругу. Гемофилия уже коснулась поколений, рожденных от кровосмесительных браков, потомства с ярко выраженной эндогамией. Даже странная болезнь, поразившая много лет назад кипарисы, была одним из видов вируса, который в конце концов приписали минимальной разнице температур зимы и лета, тесному соседству времен года. Призрак Отсутствия Изменений еще раз нанес свой удар. В любом принуждении к сходству, отказу от различий, в любой приближенности вещей к их собственному изображению, в любом смешении людей с их собственным кодом всегда есть угроза кровосмесительной вирулентности, дьявольского изменения, появляющегося с целью испортить этот столь красивый механизм. Это выход на поверхность принципа Зла в иной форме. Тут нет ни морали, ни виновности: принцип Зла — просто синоним принципа возврата к прежнему состоянию и принципа бедствия. В системах, развивающихся по пути всеобщей позитивности и утраты символов, зло в любых своих формах равносильно основному правилу обратимости.

Однако сама эта вирулентность весьма загадочна. СПИД служит аргументом для нового сексуального ограничения, но не нравственного, а функционального: речь идет о свободном движении секса. Прерывается контакт — останавливаются потоки. И это вступает в противоречие со всеми требованиями современности: секс, деньги, информация должны циркулировать свободно. Все должно быть подвижным, а ускорение — необратимым. Отменить сексуальность под предлогом риска вирусного заражения так же абсурдно, как остановить международный товарообмен под тем предлогом, что он способствует спекуляции и росту курса доллара. О таких вещах никто не задумывается ни на минуту. И вдруг — остановка на сексе. Что это — противоречие в системе?

Может быть, это напряженное ожидание имеет загадочный конец, противоречиво связанный с не менее загадочным концом сексуальной свободы? Нам известно спонтанное саморегулирование систем, которые порождают собственные катастрофы, собственное торможение — все это для того, чтобы выжить. Никакое общество не может существовать вопреки собственной системе ценностей — общество должно иметь такую систему, но необходимо, чтобы оно также принимало решения, направленные против этой системы ценностей. Мы живем, основываясь, по крайней мере, на двух принципах: на принципе

сексуальной свободы и на принципе коммуникации и информации. Все происходит так, как если бы общество само посредством угрозы СПИДа производило противоядие против своего же принципа сексуальной свободы, посредством рака, который является нарушением генетического кода, оказывало сопротивление всемогущему принципу кибернетического контроля и посредством всех вирусов организовывало саботаж универсального принципа коммуникации.

А если бы все это означало отказ от неизбежных потоков спермы, секса, знаков, слов, отказ от усиления коммуникации, от запрограммированной информации, от сексуальной скученности? Если бы существовало необходимое сопротивление распространению потоков, кругов, сетей — конечно, ценой новой убийственной патологии, но такой, которая в конечном итоге защитила бы нас от чего-то еще более страшного? Посредством СПИДа и рака мы, вероятно, расплачиваемся за нашу собственную систему: мы изгоняем ее банальную вирулентность фатальным способом. Невозможно предугадать степень эффективности такого изгнания, но мы должны задать себе вопрос: чему противостоит рак, не сопротивляется ли он еще худшей перспективе — тотальной гегемонии генетического кода? Чему противостоит СПИД, не более ли ужасающей вероятности сексуальной эпидемии, всеобщей сексуальной скученности? Та же проблема и с наркотиками; отложим в сторону драматизацию и спросим себя: от чего нас защищают наркотики? Какую увертку представляют они перед лицом еще худшего зла — умственного отупения, нормативного обобществления, универсальной запрограммированности? То же можно сказать и о терроризме: это вторичное, вызывающее реакцию насилие, возможно, защищает нас от эпидемии согласия, от политической лейкемии и упадка, которые продолжают углубляться, а также от невидимого, но очевидного влияния Государства. Все вещи двойственны, все имеет оборотную сторону. В конце концов именно благодаря неврозам человек оказывается надежно защищен от безумия. В этом смысле СПИД не есть наказание, ниспосланное Небом; возможно, напротив, это защитное действие, направленное на предотвращение риска всеобщей скученности, тотальной утраты подлинности в процессе размножения и ускоренного роста сетей.

Если СПИД, терроризм, экономический крах, электронные вирусы овладели коллективным воображением, это произошло потому, что они являют собой нечто, отличное от эпизодов иррационального мира. Дело в том, что в этих явлениях присутствует вся логика нашей системы; они — ее сенсационное проявление. Все они подчинены одному и тому же протоколу вирулентности и излучения, само влияние которого на воображение уже является вирусным: один террористический акт заставляет пересмотреть деятельность каждого политика в свете террористической гипотезы; одно лишь появление СПИДа, даже статистически незначительное, вынуждает пересмотреть весь спектр болезней в свете гипотезы иммунодефицита. Малейшего вируса, искажающего запоминающие устройства компьютеров Пентагона или наводняющего каналы связи новогодними поздравлениями, достаточно, чтобы создать угрозу дестабилизации информационных систем.

Такова привилегия экстремальных явлений и катастрофы в целом, трактуемой как аномальный поворот событий. Тайный порядок, присущий катастрофе, состоит в сходстве всех этих процессов между собой и в их соответствии системе во всей целостности последней. Это порядок внутри беспорядка: все экстремальные явления связаны между собой и с системой в целом. Это означает, что бесполезно взывать к рациональности системы, к ее избавлению от наростов. Желание уничтожить экстремальные явления абсолютно иллюзорно. Они будут становиться все более и более экстремальными по мере возрастания уровня фальсификации нашей системы. Что, впрочем, есть великое благо, потому что в этом случае они оказываются наилучшей терапией для этой системы. В прозрачных системах, гомеостатических или гомеофлюидных, нет больше стратегии Добра против Зла, есть только стратегия Зла против Зла — стратегия наихудшего. О выборе больше нет речи; мы видим, как гомеопатическая вирулентность расползается у нас на глазах. СПИД, крах, информационные вирусы — все это лишь видимая часть катастрофы, 90 %

которой скрыто в виртуальном мире. Настоящей, абсолютной катастрофой будет катастрофа вездесущности всех сетей, всеобщей призрачности информации, от чего, по счастью, нас защищает информационный вирус. Благодаря ему мы не движемся по прямой линии к концу информации и коммуникации, что было бы равносильно смерти. Выход на поверхность этой убийственной призрачности тоже служит сигналом тревоги. Это несколько напоминает ускоренное движение жидкости: оно вызывает всевозможные завихрения и аномалии, которые останавливают течение или рассредоточивают его. Хаос служит границей тому, что без него просто затерялось бы в абсолютной пустоте. Таким образом, экстремальные явления, сами пребывая в тайном беспорядке, предотвращают, посредством хаоса, беспредельный рост порядка и прозрачности. Однако уже сегодня, несмотря на экстремальные явления, можно наблюдать начало конца некоего процесса мышления. То же происходит и с сексуальной свободой: мы уже видим начало конца некоего процесса наслаждения. Но если бы всеобщая скученность осуществилась, сам секс исчез бы в своем бесполом неистовстве. Это справедливо и в случае экономического обмена. Спекуляция, подобно вихревому потоку, делает невозможным общее расширение реального товарообмена. Провоцируя мгновенную циркуляцию стоимостей, убивая током экономическую модель, спекуляция в то же время помогает обойти катастрофу, каковой была бы свободная коммутация всех обменов, ибо это тотальное освобождение и есть настоящее катастрофическое движение стоимостей.

Перед лицом гибели, которую таит в себе полная невесомость, невыносимая легкость существа, всеобщая скученность и линейность процессов, гибели, увлекающей нас в пустоту, эти внезапные вихри, которые мы называем катастрофами, есть то, что предохраняет нас от катастроф. Эти аномалии, эти крайности воссоздают зону гравитации и плотности, препятствующей дисперсии. Можно вообразить, что наше общество стремится особым способом избавиться от своих отверженных, подобно племенам, избавлявшимся от избытка населения путем самоубийств в океане — речь шла о гомеопатической дозе самоубийств, о самоубийствах нескольких человек, но это позволяло сохранить гомеопатическое равновесие всего племени. Итак, катастрофу можно рассматривать как некую умеренную стратегию, или, скорее, наши вирусы, наши экстремальные явления, совершенно реальные, но локализованные, позволяют, видимо, сохранить нетронутой энергию виртуальной катастрофы — двигателя всех наших процессов как в экономике, так и в политике, как в искусстве, так и в истории.

Эпидемиям, инфекциям, цепной реакции и размножению вирусов мы обязаны одновременно и лучшим и худшим. Худшее — это метастазы при заболевании раком, фанатизм в политике, вирулентность в области биологии, информационные шумы. Но в сущности все это являет собой часть лучшего, так как процесс цепной реакции есть процесс аморальный, стоящий выше добра и зла, и обратимый. Впрочем, как лучшее, так и худшее мы воспринимаем все в том же завороженном состоянии.

Возможность, которой располагают некоторые экономические, политические, лингвистические, культурные, сексуальные, даже теоретические и научные процессы, — переступить через общепринятое мнение и действовать посредством немедленного заражения согласно чистой взаимной присущности вещей, а не их отношений или превосходства — представляет собой одновременно и загадку для ума, и чудесную альтернативу для воображения.

Стоит только взглянуть на эффект, который производит мода. Этот никогда не изучавшийся эффект олицетворяет отчаяние социологии и эстетики. Это потрясающее заражение форм, в процессе которого вирус цепной реакции оспаривает первенство у логики различия. Удовольствие, которое связано с модой, имеет, разумеется, культурный характер, но не является ли оно еще в большей степени следствием этого мгновенного консенсуса, сверкающего в игре знаков? Впрочем, мода угасает, как эпидемия, после того, как воображение истощится и вирус устанет. Цена, которую приходится платить, если использовать слова, употребляемые нами, когда речь идет о растрате, чрезмерно высока. Но

все соглашаются на эту цену. Наше социальное чудо состоит в слишком быстром вращении знаков (но не в слишком медленном вращении смыслов). Мы обожаем, когда нас заражают немедленно, и нисколько не раздумываем при этом. Эта вирулентность гибельна, как бациллы чумы, но никакая моральная социология, никакой философический склад ума не в силах справиться с нею. Мода — неустранимое явление, поскольку она является частью этого бессмысленного, вирусного, незамедлительного способа коммуникации, скорость которого объясняется исключительно отсутствием передачи смысла.

Все, что можно сэкономить в процессе передачи, составляет источник наслаждения. Соблазн — это то, что переходит от одного к другому в разных, несхожих формах, т. е. минуя одинаковость. (При клонировании происходит обратное: переход совершается от подобного к подобному, минуя инакость, и это нас очаровывает.) В процессе метаморфозы мы переходим от формы к форме, игнорируя при этом смысл, при написании поэмы — от знака к знаку, не делая ссылок. Исчезновение дистанций, промежуточных пространств всегда порождает нечто, подобное опьянению. Разве не то же самое происходит с нами на больших скоростях? Что совершаем мы, кроме перехода от одной точки к другой, минуя время, и от одного момента к другому, минуя расстояние и движение? Скорость прекрасна, надоедает лишь время.

ПОБУЖДЕНИЕ И ОТТОРЖЕНИЕ

Однородность контуров, идеальное пространство, основанное на синтезе и протезировании, пространство неоспоримое, согласованное, синхронное, совершенное — все это представляет мир абсолютно неприемлемый. Не тело противится любой форме трансплантации и искусственной замены, не только сознание живого существа не приемлет этого, но сам разум восстает против синергии, которую ему навязывают, отвечая многообразными формами аллергии. Неприятие, отторжение, аллергия — особый вид энергии. Эта внутренняя энергия, которая заняла место негативизма и возмущения, вызванного несогласием, порождает наиболее необычные явления нашего времени: вирусные патологии, терроризм, наркоманию, преступность и даже те явления, которые принято считать позитивными, — культ успеха и коллективную истерию производства — явления, гораздо более походящие на принуждение избавиться от чего-то, нежели на побуждение создать что бы то ни было. Сегодня мы в большей мере идем к изгнанию и отталкиванию, чем к побуждению в собственном смысле слова. Сами природные катастрофы кажутся некоей разновидностью аллергии, отторжения природой операционного воздействия со стороны рода человеческого. Там, где угасает негативизм, эти катастрофы являют неумолимый символ необузданности, драгоценный символ отрицания. Их вирулентность, впрочем, влечет за собой, посредством заражения, социальный хаос.

Исчезли сильные побуждения или, иначе говоря, позитивные, избирательные, притягательные импульсы. Желания, испытываемые нами, очень слабы; наши вкусы все менее определенны. Распались, неизвестно по чьему тайному умыслу, созвездия вкуса, желания, воли. А созвездия злой воли, отвержения и отвращения, наоборот, стали более яркими. Кажется, что оттуда исходит какая-то новая энергия с обратным знаком, некая сила, заменяющая нам желание, необходимое освобождение от напряжения того, что заменяет нам мир, тело, секс. Сегодня можно считать определенным только отвращение, пристрастие же таковым более не является. Наши действия, наши затеи, наши болезни имеют все меньше объективных мотиваций; они все чаще исходят из тайного отвращения, которое мы испытываем к самим себе, из тайной выморочности, побуждающей нас избавляться от нашей энергии любым способом; это следует считать скорее формой заклинания духов, нежели проявлением воли. Быть может, это какая-то новая форма принципа Зла, эпицентром которого, как известно, как раз и является заклинание злых духов?

Зиммель говорил: "Нет ничего проще отрицания. Вот почему большая масса, составные части которой не в состоянии согласовать стоящие перед ней задачи, обретает это

согласие в отрицании". Было бы бесполезно побуждать массы к поискам позитивного мировоззрения или к критическим умонастроениям, ибо они попросту этим не обладают; все, что у них имеется, — это сила равнодушия, сила отторжения. Они черпают свои силы лишь в том, что изгоняют или отвергают, и, прежде всего, это — любой проект, превосходящий их понимание, любая категория или рассуждение, которые им недоступны. В этом есть элемент хитрой философии, источником которой служит наиболее жестокий опыт — опыт животных или крестьян: нас-то уж больше не надуешь, мы-то себя в жертву "светлому будущему" не принесем. С такого рода общественным мнением может спокойно сосуществовать глубокое отвращение к общественному порядку — отвращение к претензиям властей на превосходство, к фатальности и мерзости всего политического. Если прежде существовали политические страсти, то сегодня мы наблюдаем необузданность в сочетании с глубоким отвращением к политике.

Власть как таковая находит в отвращении широкую опору. Вся пропаганда, все политические выступления являются публичным оскорблением здравому смыслу и интеллекту, но при этом вы сами являетесь «реципиентом» этого оскорбления — отвратительного проявления молчаливого взаимодействия. С тактикой утаивания покончено, теперь нами управляют языком открытого шантажа. Прототипом этого может служить известный банкир, которому находящийся рядом вампир заявляет: "Ваши денежки меня очень занимают". Вот уже десять лет, как непристойность в виде стратегии правительства стала неотъемлемой частью нравов. Люди говорили о пропаганде, что она очень скверная, что в ней присутствует какая-то вызывающая нескромность. Но эта пропаганда, напротив, была пророческой, она несла в себе будущее социальных отношений, прямым ходом продвигаясь к отвращению, похоти и изнасилованиям.

То же можно сказать и о порнографической рекламе и о рекламе продуктов питания: она движется к бесстыдству и похотливости в соответствии со стратегией изнасилования и недомогания. Сегодня можно соблазнить женщину, заявив ей: "Меня интересуют ваши половые органы".

Эта бесстыдная форма торжествует и в искусстве: множество пошлостей, с которыми мы здесь сталкиваемся, равноценно высказыванию типа: "Нас интересует ваша глупость, ваш дурной вкус". И мы уступаем этому коллективному шантажу, этой изощренной инъекции нечистой совести.

Верно, что ничто не вызывает у нас подлинного отвращения. В нашей эклектической культуре, которая соответствует разложению и скученности других культур, ничто не является неприемлемым. Именно поэтому возрастает отвращение, желание низвергнуть эту скученность, это безразличие к худшему, эту вязкость противоречий. И в той же мере возрастает отвращение, вызванное отсутствием отвращения. В этом — аллергический соблазн отбросить все разом — постепенную интоксикацию и переедание, толерантность, шантаж угрозой разброда и шатаний. И вовсе не случайно так остро встает вопрос об иммунитете, антителах, трансплантации и отторжении. На стадии скудости мы стремимся все поглощать и усваивать. На стадии же избытка встает проблема отторжения и отбрасывания. Всеобщая коммуникация и перенасыщение информацией представляют угрозу для защитных свойств человеческого организма. Это символическое интеллектуальное пространство, где рождаются суждения, не защищено более ничем.

Не только я сам не в состоянии решить, что прекрасно, а что безобразно, но даже биологический организм уже не ведает, что для него хорошо, а что плохо. В подобной ситуации все становится неприемлемым, и единственная защита организма — освобождение от эмоционального напряжения и отторжение.

Смех сам по себе чаще всего является естественной реакцией, необходимой для подавления отвращения, которое внушает нам состояние смешения и чудовищной скученности. Мы изрыгаем безразличие, но в то же время оно зачаровывает нас. Мы любим все смешивать воедино, но при этом испытываем неприязнь к смешению. Это — жизненно необходимая реакция, благодаря которой организм сохраняет свою символическую

целостность, даже ценой собственной жизни (отказ от пересадки сердца). Почему тела противятся индифферентной замене органов и клеток? И почему клетки при заболевании раком отказываются выполнять возложенную на них функцию?

ЗЕРКАЛО ТЕРРОРИЗМА

Зачем существует терроризм, если не для того, чтобы служить разновидностью насильственного освобождения от напряжения в социальном поле?

В событиях, подобных имевшему место в 1985 году на стадионе Эзель в Брюсселе поражает воображение не просто насилие, а то, что это насилие приобрело новое обличие из-за того, что телевидение сделало его общедоступным.

Неужели в конце XX века возможно такое варварство? Вопрос тщетный. Речь идет о воскрешении некогда отмершей формы насилия. Устаревшее насилие является одновременно и более изощренным, и более жертвенным. Наше насилие, порожденное нашей сверхсовременностью — это террор. Это подобие насилия: оно возникает скорее от экрана, чем от страсти, оно той же природы, что и изображение. Насилие потенциально существует в пустоте экрана благодаря дыре, которую он открывает в ментальное пространство. До такой степени, что лучше не находиться в общественном месте, где работает телевидение, в силу высокой вероятности насильственного события, которое оно индуцирует своим присутствием. Повсюду можно наблюдать прецессию средств массовой информации в отношении террористического насилия. Именно это придает насилию специфически современную форму, гораздо более современную, нежели так называемые "объективные причины", которые мы стараемся ему приписать: ни политические, ни социальные, ни психологические причины несоизмеримы с этим событием.

Удивительно и то, что его в каком-то смысле ожидали. Все мы сообщники в ожидании этого рокового сценария, даже если его осуществление вызывает у нас волнение и потрясение. Говорят, что полиция ничего не предпринимала, чтобы предупредить взрыв насилия, но никакая полиция не в состоянии предотвратить это помутнение разума, это коллективное домогательство терроризма.

Подобное событие связано с внезапной кристаллизацией насилия в подвешенном состоянии. Это не есть столкновение антагонистических страстей или враждебных сил. Это — равнодействующая сил бездеятельных и безучастных, часть которых составляют инертные созерцатели телеэкранов. Насилие со стороны хулиганов есть не что иное, как обостренная форма безразличия, которая лишь потому вызывает столько откликов, что играет на губительной кристаллизации безразличия. В своей основе насилие, как и терроризм, не событие, а скорее отсутствие события, принимающее форму взрыва, направленного внутрь:[1] взрывается политическая пустота (а не злоба той или иной группы людей), молчание истории (а не психологическое подавление индивидуумов), безразличие и безмолвие. Таким образом, терроризм не есть какой-то иррациональный эпизод нашей общественной жизни: ему присуща четкая логика ускорения в пустоте.

Терроризм связан и с другой разновидностью логики — с инициативой перемены ролей: зрители (например, английские болельщики) становятся актерами. Они заменяют собой исполнителей главных ролей (футболистов) и под взором средств массовой информации ставят свой собственный спектакль (надо признать, гораздо более завораживающий, чем обычное представление). Не этого ли требуют от современного зрителя? Разве его не просят стать актером и, оставив свою зрительскую инертность, включиться в спектакль? Не есть ли это лейтмотив всякой культуры, связанной с участием зрителя? Парадоксально, но именно в спектаклях такого рода как бы сама по себе

---

[1] Характеризуя форму взрыва, автор использует прилагательное «implosive», противопоставляя его прилагательному «explosive» (прим. переводчика)

материализуется современная гиперсоциальность, которой свойственно принимать участие в чем-либо. Можно сколько угодно сожалеть об этом, но две сотни разбитых кресел на концерте рока есть признак успеха. Где же кончается участие и начинается эксцесс? На самом деле, говоря об участии, умалчивают о том, что его приемлемая форма должна ограничиваться лишь знаками участия. Но так бывает не всегда.

Римляне имели смелость ставить подобные спектакли со зверями и гладиаторами прямо на сцене; у нас же таковое действо происходит за кулисами, случайно, в сопровождении взлома. Мы осуждаем эти представления во имя морали, но всем миром отдаем их на съедение телевидению: именно им были посвящены на телевидении первые несколько минут хит-парада года. Даже Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году были превращены в гигантский парад, во всемирное шоу, над которым, как в Берлине 1936 года, царила атмосфера терроризма, демонстрирующего свое могущество — мировое спортивное зрелище, возведенное в ранг стратегии холодной войны, полная утрата олимпийских принципов. Как только спортивные принципы оказываются извращенными, спорт можно использовать в любых целях: став парадом престижа или парадом насилия, он постепенно из соревнований и зрелищ превращается в головокружительные цирковые игрища, от которых мутится разум (если пользоваться классификацией Кайуа). Такова общая тенденция нашего общества: системы представительства сменяются системами притворства и помутнения рассудка. Не избежала этой участи и политика.

За трагедией в Эзеле, впрочем, стоит форма государственного терроризма, который выражается не только в запрограммированных действиях (ЦРУ, Израиль, Иран). Существует способ проводить наихудшую, провокационную по отношению к своим же гражданам политику, способ доводить до отчаянья целые слои населения, подталкивая их к ситуации почти самоубийственной; этот способ является составной частью политики некоторых современных государств. Так, миссис Тэтчер сумела отделаться от шахтеров, применив стратегию наихудшего: они кончили тем, что дискредитировали себя в глазах общества. Та же стратегия была применена к хулиганствующим безработным: это выглядело так, как будто она создала из них отряды коммандос, которые намеревалась заслать за границу, разумеется, осуждая их при этом, но грубость, выказываемая ими, наглядно проявлялась и у нее самой при исполнении служебных обязанностей. Эта стратегия расправы, осуществляемая более или менее открыто во всех современных государствах и служащая в основном для алиби в кризисных ситуациях, может привести лишь к таким крайностям, как последствия терроризма, для которого государство отнюдь не является врагом.

С того момента, как государства оказываются не в состоянии нападать друг на друга и заниматься взаимным уничтожением, они почти автоматически обращают взор в сторону своей собственной территории и своего населения, развязывая гражданские или междоусобные войны против естественно сложившихся у себя же отношений (не является ли уничтожение естественных отношений предназначением любого знака, любой значимой и представительной инстанции?).

Во всяком случае, такова неявная судьба политического деятеля, и это прекрасно, хотя и несколько смутно, осознают все представители мира политики. Все мы, сами того не ведая, являемся маккиавелистами благодаря смутному пониманию того, что политическое представительство есть не что иное, как диалектическая фикция, за которой скрывается смертельный поединок, желание обрести власть и погубить противника, и желание это потенциально в состоянии привести человека к гибели или добровольному рабству; всякая власть зиждется на Гегемонии Государя и на Холокосте Народа.

И тогда речь уже не заходит ни о народных представителях, ни о законном монархе; эта политическая конфигурация уступает место дуэли, где нет места вопросу об Общественном договоре, трансполитической дуэли между стремящимися к тоталитарному самоуправлению инстанциями и ироничной, строптивой, агностической, инфантильной массой, которая больше не разговаривает, а ведет переговоры. Это — ипохондрическое состояние тела, пожирающего собственные органы. Неистовую ярость, с которой власти и государства

изничтожают свои собственные города, пейзажи, собственное существо вплоть до самоуничтожения, можно сравнить лишь с яростью, с которой прежде уничтожались города, пейзажи и существо врага.

При отсутствии оригинальной политической стратегии (которая, быть может, уже и невозможна), при невозможности разумного управления социальными отношениями государство теряет свою социальную сущность. Оно уже не функционирует в соответствии с политической волей, им управляет шантаж, устрашение, притворство, провокации или показные хлопоты. Оно изобретает политику, в том числе и социальную, которой присущи безразличие и отсутствие эмоций.

Такова реальность трансполитического; за всякой официальной политикой стоит циничное упорство, порожденное исчезновением социального. Хулиганы представляют собой лишь крайность этой политической ситуации, они доводят степень участия до трагической крайности и в то же время осуществляют шантаж в отношении насилия и устранения. То же самое делают и террористы. И то, что нас завораживает в этих действиях вопреки всей нравственной реакции на происходящее, — это доведенная до высшей точки актуальность данной модели, тот факт, что она отражает, словно зеркало, наше собственное исчезновение в качестве политического общества, что безусловно пытаются скрыть политические псевдособытия.

Отзвуком событий в Эзеле стал другой эпизод: в сентябре 1987 года в Мадриде проходил матч на кубок Европы между мадридским «Реалом» и командой Неаполя. Матч проходил ночью, на пустом стадионе, при полном отсутствии публики, что являлось дисциплинарной мерой со стороны Международной федерации — мерой с целью предотвращения эксцессов наподобие тех, что учинили мадридские болельщики на предыдущем матче. Тысячи болельщиков осаждали стадион, но проникнуть туда не смогли. Матч целиком транслировался по телевидению.

Запреты такого рода никогда не уничтожат шовинистическую страсть к футболу, но они служат прекрасной иллюстрацией террористического суперреализма нашего мира, где «реальные» события происходят в пустоте, выброшенные из своего привычного окружения и наблюдаемые лишь издалека, по телевизору. Это является как бы хирургическим предвосхищением будущих событий: событие, о котором идет речь, было столь минимальным, что могло бы вовсе не иметь места, но его воспроизведение на экране получило максимальный размах. Никто не переживал связанные с ним перипетии, но все заполучили его изображение. Оно сделалось чистым событием, существующим вне всяких естественных связей с окружающим, и его эквивалент вполне можно было бы представить в виде синтезированных изображений.

Совершенно очевидно, что этот матч-фантом связан с тем, что проходил в Эзеле, где реальный футбольный матч оказался заслонен гораздо более драматической формой насилия. Именно для того, чтобы избежать такого (всегда возможного) поворота событий, когда публика перестает быть публикой и превращается в жертву или в убийцу, когда спорт перестает быть спортом и принимает облик терроризма, публику просто-напросто изгоняют, и это дает уверенность в том, что в дальнейшем придется иметь дело лишь с событием, транслируемым по телевидению. Все намеки на окружение должны исчезнуть с тем, чтобы это событие стало приемлемым на интеллектуальном телеэкране.

Дела политические также разыгрываются на своего рода пустом стадионе (такова, например, форма представительства), откуда изгнана вся реальная публика, способная на слишком бурные эмоции, и откуда не исходит ничего, кроме повторной телезаписи — обследования, кривые, опросы общественного мнения. И все это продолжает функционировать и даже овладевать нашими умами, но, если проявить больше проницательности, то эту ситуацию можно сопоставить с тем, как если бы некая Международная Политическая федерация остановила публику на неопределенное время и изгнала ее со всех стадионов, чтобы обеспечить нормальный ход игры. Это и есть наша трансполитическая сцена — прозрачная форма социального пространства, откуда были

изгнаны действующие лица, чистая форма события, из которой исчезли все страсти.

КУДА ЖЕ ПРОНИКЛО ЗЛО?

Терроризм во всех его формах есть трансполитическое зеркало Зла. Единственный настоящий вопрос, встающий перед нами, — вопрос о том, куда проникло Зло. Оно проникло повсюду: анаморфоз всех современных форм Зла бесконечен. (В обществе, которое, встав на путь профилактики и умерщвления своих естественных отношений, обеления насилия, искоренения своих начал и всех проклятых аспектов методами эстетической хирургии, хирургического облагораживания отрицательного, не желает иметь дела ни с чем, кроме четкого управления и дискуссий о Добре, в обществе, где больше нет возможности говорить о Зле, — в таком обществе Зло трансформируется в различные вирусные и террористические формы, преследующие нас.)

Могущество анафемы, сила проклятия исчезли из нашей жизни. Но они снова проявляются в другом виде. Так, Хомейни в деле Рушди не только продемонстрировал свою силу, заставив Запад охранять заложника и в каком-то смысле превратив в заложника весь Запад, но и представил сенсационное доказательство того, что символическая мощь слова может ниспровергнуть все сложившиеся соотношения сил.

Перед лицом всего мира при соотношении всех политических, военных и экономических сил явно не в свою пользу, аятолла располагает одним-единственным оружием, оружием нематериальным, но близким к совершенству: это принцип Зла — отрицание западных ценностей прогресса, рациональности, политической морали, демократии и т. п. Отрицание всеобщего согласия в отношении всех значимых вещей придает ему сатанинскую энергию отверженного, ярость проклятия. Сегодня только он имеет право голоса, потому что он один обеспечивает вопреки всему манихейскую позицию принципа Зла, он — единственный, кто призывает Зло и изгоняет его, кто соглашается воплотить принцип Зла в жизнь посредством террора. Для нас остается неясным, что же руководит им. Зато мы можем констатировать, что, благодаря всему этому, он обладает превосходством перед Западом, где нет возможности призывать Зло, где виртуальное согласие душит малейший негативизм. Наша политическая власть сама по себе есть не что иное, как видимость собственной деятельности. Потому что власть существует только благодаря этой символической возможности указывать на Инакого, на Врага, на цель, угрозу, Зло. Сегодня власть уже не обладает такой возможностью и, соответственно, не существует оппозиции, которая могла бы или желала бы указать на власть, как на источник Зла. Мы стали слишком слабы в том, что связано с сатанинской энергией, энергией иронической, полемической, антагонистической, мы стали обществом фанатически изнеженным или изнеженно фанатичным.

Поскольку мы стремимся изгнать из себя проклятое начало и тщимся представить во всем блеске только положительные ценности, мы стали страшно уязвимыми для малейшей вирусной атаки, в том числе и той, которую предпринимает аятолла, отнюдь не страдающий иммунным дефицитом. Мы можем противопоставить ему лишь права человека — скудный ресурс, который сам по себе является частью политического синдрома иммунного дефицита. Впрочем, во имя прав человека аятоллу в конце концов стали рассматривать как "абсолютное Зло" (Миттеран), т. е. приспособились к его проклятию, вступив, таким образом, в противоречие с правилами просвещенных диспутов. (Ведь сегодня сумасшедшего не считают сумасшедшим. Мы даже не рассматриваем увечного человека в качестве такового, до такой степени мы боимся Зла, до такой степени мы битком набиты эвфемизмами, дабы избежать обозначения Другого, несчастья, неизбежности.) Не будем удивляться, что некто, способный выражаться литературным и возвышенным языком Зла, вызывает такой приступ слабости западной культуры вопреки требованиям интеллектуалов. Дело в том, что и законность, и добропорядочность, и, наконец, сам разум становятся сообщниками проклятия. Они могут только мобилизовать все средства анафемы, но тут же попадают в ловушку

принципа Зла, который чрезвычайно заразен. Кто же выиграл? Конечно же, аятолла. Разумеется, у нас остается возможность его уничтожить, но символически победил именно он, а символическое могущество всегда превосходит могущество оружия и денег. Это своего рода реванш другого мира. Третий мир никогда не мог бросить Западу настоящий вызов. И СССР, который в течение нескольких десятилетий был для Запада воплощением Зла, теперь постепенно и демонстративно становится на сторону Добра, на сторону умеренного правления (по восхитительной иронии именно Советский Союз, хотя мир и не осознает этого, выступает в роли посредника между Западом и тегеранским Сатаной после того, как в течение пяти лет он защищал западные ценности в Афганистане).

Эффект очарования, притягательной силы и одновременно всеобщего отвращения, вызванный смертным приговором Рушди, похож на феномен внезапной разгерметизации кабины самолета из-за пробоины или трещины в фюзеляже (даже когда она возникает случайно, она все равно похожа на террористический акт). Все яростно стремится наружу, в пустоту в соответствии с разностью давлений между двумя пространствами.

Достаточно пробить брешь, дырочку в тончайшей пленке, разделяющей два мира. Терроризм, захват заложников — это преимущественно тот акт, который пробивает эту брешь в искусственно созданной и искусственно защищенной вселенной (каковой наша вселенная и является).

Весь современный мир ислама, совсем не похожий на тот, что существовал в средние века, мир, который надо расценивать в терминах стратегических, а отнюдь не нравственных или религиозных, сегодня стремится создать пустоту вокруг западной системы (включая и страны Востока), пробивая время от времени единым действием или словом в этой системе бреши, через которые все наши ценности проваливаются в пустоту. Ислам не оказывает революционного давления на западный мир, он не отваживается на попытку обратить его в свою веру или одержать над ним победу; он довольствуется тем, что лишает его стабильности посредством вирусной атаки во имя принципа Зла, которому нам нечего противопоставить, а также путем постоянной угрозы внезапной разгерметизации и исчезновения воздуха ценностей, которым мы дышим, что в охраняемой нами вселенной — нашей вселенной — становится возможным из-за виртуальной катастрофы, порожденной разностью давления между двумя средами. Верно, что немалая часть кислорода уже улетучилась из западного мира через разные щели и отверстия. В наших интересах хранить кислородные маски.

Вопреки общепринятому мнению, стратегия аятоллы поразительно современна. Она гораздо современнее нашей, ибо ее суть в том, чтобы вводить в современный контекст архаичные элементы: ипе fatwa, смертную казнь, проклятие — все равно, что именно. Все это не имело бы смысла, если бы западный мир был прочен. Но вся наша западная система, напротив, резонируя, погружается в бездну: она служит сверхпроводником этого вируса. Как это понимать? Мы снова наблюдаем реванш Другого Мира: в то время, как мы привнесли в остальной мир достаточно зародышей, болезней, эпидемий и идеологий, против которых архаичные элементы были бессильны, сегодня, когда по иронии судьбы события принимают обратный ход, мы, кажется, остаемся совершенно беззащитными перед маленьким гнусным архаичным микробом.

Заложник сам по себе становится микробом. В своей последней книге "Ремесло заложника" Ален Боске показывает, как частица западного мира, оказавшись в пустоте, не может и даже не хочет вернуться в свою среду обитания, будучи обесцененной в своих же собственных глазах, а более всего потому, что и ее страна, и ее сограждане также унижены своей вынужденной пассивностью, повседневной трусостью, позорными и по существу бесполезными переговорами.

Помимо переговоров каждый факт взятия заложника служит доказательством неизбежной трусости целых сообществ, в случаях, когда речь идет о любом их члене. Это безразличие общества порождает безразличное к нему отношение со стороны каждого индивидуума: именно так мы функционируем на Западе, это и есть политическая

беспомощность, которую безжалостно изобличает стратегия захвата заложников. Когда какой-либо индивидуум теряет под собой опору, дестабилизируется вся система в целом. Вот почему заложник даже не может простить обществу того, что из него мимоходом сделали героя, которого однако тут же ловко использовали в своих целях.

Мы не знаем, что творится в голове аятоллы или в сердцах мусульман. Все, что мы можем — это не поддаваться несостоятельной идее, будто во всем этом повинен религиозный фанатизм. Боюсь только, что мы недостаточно вооружены, чтобы принять вызов этого символического насилия в тот самый момент, когда мы пытаемся исключить Террор из воспоминаний о Французской революции в угоду памяти, которая, уподобляясь согласию, все больше походит на громоздящееся сооружение. Что мы можем сделать перед лицом этого нового насилия, если мы пытаемся стереть насилие из своей собственной истории?

Мы больше не умеем произносить проклятия. Мы умеем произносить только речи о правах человека — об этой благоговейной, слабой, бесполезной, лицемерной ценности, которая зиждется на просвещенной вере в естественную силу Добра, на идеализации человеческих отношений (тогда как для Зла не существует иной трактовки, нежели само Зло).

Более того, об идеальной ценности этого Добра всегда говорится в покровительственной, уничижительной, негативной, реакционной манере. Это есть сведение Зла к минимуму, предупреждение насилия, стремление к безопасности. Эта снисходительная и давящая Сила доброй воли помышляет лишь о справедливости в обществе и отказывается видеть кривизну Зла и его смысл.

Свобода слова существует лишь тогда, когда это слово является «свободным» выражением индивидуума. Если же под словом понимать двойственную, сопричастную, антагонистическую, обольстительную форму выражения, тогда понятие свободы слова теряет всякий смысл.

А существует ли право на желание, на необдуманные поступки, право на наслаждение? Полный абсурд. Так, сексуальное освобождение становится смешным, когда пытается заговорить на языке права. Наша «знаменательная» Революция обнаруживает свою смешную сторону, когда начинает рассуждать в терминах прав человека.

"Право на жизнь" заставляет трепетать все набожные души до того момента, пока из него не выводят логически право на смерть, после чего его абсурдность становится очевидной. Потому что смерть, как и жизнь, есть судьба, фатальность (счастливая или несчастная), но отнюдь не право.

Почему бы не потребовать «права» быть мужчиной или женщиной? Или же Львом, Водолеем или Раком? Но что значит быть мужчиной или женщиной, если на то существует право? Очаровательно то, что жизнь поставила вас по ту или другую сторону, а играть предстоит вам самим. И разрушать это правило символической игры не имеет никакого смысла. Я могу потребовать права ходить шахматным конем по прямой, но какой в этом смысл? Права такого рода просто нелепы.

По жестокой иронии мы дожили до права на труд. До права на безработицу! До права на забастовку! Никто уже даже не замечает сюрреалистического юмора таких вещей. Бывает, однако, этот черный юмор прорывается наружу. Такова, например, ситуация, когда приговоренный к смерти американец требует для себя права на казнь вопреки всем лигам защиты прав человека вместе взятым, бьющимся за его помилование. Это уже становится интересным. В списке прав человека имеются, таким образом, неожиданные разночтения: израильтяне, будучи жертвами во все времена, требуют в качестве права держать у себя преступников. И получить, наконец, официально допустимый уровень преступности.

Нет никаких сомнений в том, что СССР сделал огромный шаг на пути соблюдения прав человека (гораздо больший, нежели это было в Хельсинки или где-либо еще) благодаря Чернобылю, землетрясению в Армении и гибели атомной подводной лодки: этот шаг есть право на катастрофу. Главные, основные права — право на несчастный случай, право на

преступление, право на ошибку, право на зло, право на самое худшее, а не только на самое лучшее: и это в гораздо большей степени, чем право на счастье, делает вас человеком, достойным этого имени.

Право неизбежно приобретает пагубную кривизну, в соответствии с которой, если нечто само собой разумеется, то всякое право становится излишним, но если в отношении той или иной вещи возникает необходимость установления права, то это означает, что сама эта вещь приближается к своей гибели. Так, право на воду, воздух, пространство "скрепляет подписью" быстрое исчезновение всех этих элементов. Право на ответ указывает на отсутствие диалога и т. д.

Права человека теряют свой смысл с того момента, когда человек перестает быть существом безумным, лишенным своей собственной сути, чуждым самому себе, каковым он был в обществе эксплуатации и нищеты, где он стал, в своем постмодернистском воплощении, самоутверждающимся и самосовершенствующимся. В подобных обстоятельствах система прав человека становится совершенно иллюзорной и неадекватной — индивидуум податливый, подвижный, многогранный перестает быть объектом права; он — тактик и хозяин своего собственного существования, он более не ссылается на какую-либо правовую инстанцию, но исходит из качества своих действий и достигнутых результатов.

Однако именно сегодня права человека становятся актуальной проблемой во всем мире. Это единственная идеология, имеющаяся в запасе на сегодняшний день. Это и говорит о нулевой ступени в идеологии, об обесценивании всей истории. Права человека и экология — вот два сосца консенсуса. Современная всемирная хартия — это хартия Новой Политической Экологии.

Нужно ли видеть в апофеозе прав человека непревзойденный взлет глупости, гибнущий шедевр, обещающий, однако, осветить конец века всеми огнями согласия?

"НЕКРОСПЕКТИВА"

Напрасная шумиха вокруг Хайдеггера не имеет собственно философского смысла, она лишь является симптомом слабости современной мысли, которая, за отсутствием притока свежей энергии, фанатично возвращается к своим истокам, к чистоте своих отношений и в конце века заново с болью переживает свой примитивный облик начала века. Говоря более обобщенно, ситуация с Хайдеггером симптоматична для коллективного возрождения, завладевшего обществом в час подведения векового итога: это возрождение фашизма, нацизма, истребления. Здесь и соблазн произвести новое расследование ранних периодов истории, обелить умерших и окончательно выверить все счета, и в то же время извращенное стремление вернуться к источникам насилия, всеобщая галлюцинация исторической правдивости Зла. Наше современное воображение слишком слабо, наше безразличие к собственному положению и собственному мышлению слишком велико, чтобы мы испытывали нужду в столь регрессивном чудотворстве.

Хайдеггера обвиняют в том, что он был нацистом. Впрочем, какая разница, обвиняют его или пытаются оправдать: все люди, как с той, так и с другой стороны, попадают в одну и ту же ловушку низменной и вялой мысли, в которой нет ни гордости за свои собственные рекомендации, ни энергии, чтобы их преодолеть, и которая растрачивает то, что у нее еще осталось, в тяжбах, претензиях, оправданиях, исторических проверках. Самозащита философии, поглядывающей на двусмысленность своих мэтров (даже топчущихся на одном месте великих мыслителей), самозащита всего общества, обреченного, за неимением возможности породить другую историю, муссировать историю предшествующую, чтобы доказать свое существование и даже свои преступления. Но что это за доказательство? Именно потому, что сегодня мы более не существуем ни политически, ни исторически (и в этом суть нашей проблемы), мы хотим доказать, что мы умерли между 1940 и 1945 годами, в Освенциме или Хиросиме: ведь это, по крайней мере, достойная история. Совсем как армяне

тщатся доказать, что были вырезаны в 1917 году; доказательство неприемлемое и бесполезное, однако в какой-то мере живучее. Поскольку философия сегодня исчезла (в этом и состоит ее проблема: как существовать в исчезнувшем состоянии?), она должна доказать, что была окончательно скомпрометирована, как, например, в случае с Хайдеггером, или же была лишена голоса, как это произошло в Освенциме. Все это представляет собой безнадежную попытку прибегнуть к посмертному оправданию, к посмертному снятию обвинений — и это в тот момент, когда не существует достаточно истины, чтобы осуществить какую-либо проверку, достаточно философии, чтобы строить какие-либо отношения между теорией и практикой, когда нет исторических знаний, позволяющих провести расследование какого-либо исторического доказательства событий прошлого.

Сейчас слишком легко забывают, что вся наша реальность, в том числе и трагические события прошлого, была пропущена через средства массовой информации. Это означает, что сейчас уже слишком поздно все проверять и исторически осмысливать, так как для нашей эпохи, для конца нашего века весьма характерно исчезновение всех средств для выяснения исторической правды. Историю надо было осмысливать, когда она существовала. Хайдеггера надо было разоблачать (или защищать), когда для этого было соответствующее время. Судебное разбирательство можно проводить лишь тогда, когда процесс имеет последовательный характер. Теперь уже слишком поздно, мы были превращены в нечто иное, и доказательством тому служит увиденный нами по телевидению Холокост — Шоа.[2] Эти вещи не были поняты в те времена, когда мы имели для этого возможность. Отныне они уже не будут поняты никогда. Не будут поняты потому, что такие основные понятия, как ответственность, объективная причина, смысл (или бессмыслица) истории исчезли или находятся в процессе исчезновения. Эффекты нравственного и коллективного сознания стали слишком опосредованны, и в терапевтическом неистовстве, с которым пытаются оживить это сознание, можно ощутить слабое дыхание, все еще присущее ему.

Мы никогда не узнаем, были ли понятными появление нацизма, лагерей смерти или Хиросимы. Мы более не находимся в том же ментальном пространстве. Жертва и палач меняются местами, происходит преломление и распад ответственности — таковы добродетели нашего чудесного интерфейса. У нас нет больше сил на забвение, наша амнезия — это амнезия изображений. Кто же объявит амнистию, если виновны все? Что же до аутопсии трупов, никто больше не верит в анатомическую правдивость фактов: мы работаем по шаблону. Если бы даже эти факты были весьма красноречивы, бросались бы в глаза, они не смогли бы лишить нас доказательств или убежденности. Таким образом, по мере того, как мы досконально изучаем нацизм, газовые камеры и т. п., они становятся все менее понятны, и в конце концов мы логично задаем себе потрясающий вопрос: "А вообще, было ли все это на самом деле?" Возможно, это невыносимый вопрос, но интерес представляет то, что делает его логически допустимым. А допустимым его делает именно опосредованная подстановка событий, идей, истории. Эта подстановка влечет за собой то, что, чем пристальней мы будем вглядываться во все эти события и идеи, чем с большим старанием будем пытаться выявить детали и прояснить причины, тем с большей вероятностью они прекратят свое существование — прекратят существование в прошлом. Путаница в отношении тождественности вещей, возникающая при их исследовании и увековечении. Равнодушие памяти, безразличие к истории, которое может быть сопоставимо с усилиями взглянуть на все объективно. В один прекрасный день мы спросим себя: а существовал ли вообще Хайдеггер? Парадокс Фориссона может показаться гнусным (и таковым он и является, выражая исторические претензии относительно реальности существования газовых камер), но, с другой стороны, он точно воспроизводит движение всей культуры — тупик конца века галлюцинирующего, завороженного ужасом своих истоков, века, для которого забвение невозможно и единственным исходом остается отрицание.

---

[2] Шоа (иврит) — истребление евреев нацистами во время второй мировой войны

Так или иначе, если доказательство бесполезно, ибо не существует более исторических речей, способных расследовать процесс, наказание также невозможно. Освенцим, истребление искупить нельзя. В наказании не существует какой-либо равноценности. Нереальность наказания неизбежно влечет нереальность фактов. То, что мы сейчас переживаем, — нечто совсем другое. То, что происходит коллективно, беспорядочно, через все процессы, все полемики, — это переход от исторической стадии к стадии мифической, это мифическая и опосредованная реконструкция всех событий. В каком-то смысле это мифическое превращение — единственное действие, способное, если не оправдать нас морально, то каким-то фантастическим образом простить нам изначальное преступление. Но для этого, для того, чтобы даже преступление стало мифическим, нужно положить конец исторической реальности. В противном случае, поскольку все это — фашизм, лагеря, массовое уничтожение — было и остается для нас исторически неразрешимым, мы будем вынуждены постоянно повторять это как первоначальную картину. Опасна не ностальгия по фашизму; действительно опасным, хотя и смехотворным, является это патологическое возрождение прошлого, в котором все, как ниспровергатели, так и защитники факта существования газовых камер, как хулители, так и апологеты Хайдеггера становятся одновременно действующими лицами и почти сообщниками; опасна эта коллективная галлюцинация, которая переносит все отсутствующее воображение нашей эпохи, всякий смысл насилия и столь призрачной на сегодняшний день реальности на другую эпоху, провоцируя при этом некое принуждение заново пережить ее и вызывая глубокое чувство вины, порожденное нашим неучастием в ней. Все это точно передает наше безнадежное стремление подавить эмоциональное напряжение, связанное с тем, что в реальности эти события ускользают от нас. Дело Хайдеггера, процесс Барби и т. д. являются смехотворными конвульсиями этой присущей нам сегодня утрате реальности, и предположения Фориссона — не что иное, как циничное приписывание ее прошлому. Слова о том, что "это никогда не существовало", попросту означают, что и мы не существуем в той степени, чтобы поддерживать память, и ничто, кроме галлюцинации, не может дать нам возможности ощутить себя живущими.

Post-scriptum

Разве нельзя, исходя из всего этого, некоторым образом сократить конец нашего века? Я предлагаю заранее упразднить 90-е годы, чтобы мы сразу из 89-го года перенеслись прямо в 2000 год. Ибо, коль скоро этот конец века со всем своим пафосом умирания культуры, со своими нескончаемыми стенаниями, знамениями, мумификациями уже наступил, неужели нам предстоит еще десять лет томиться на этой галере?

Поправка: Ура! История возрождается!

Событие конца века в действии. Весь мир облегченно вздыхает при мысли о том, что История, придавленная засильем тоталитарной идеологии, после снятия блокады со стран Востока все увереннее возобновляет свой курс. Поле Истории, наконец, вновь открыто для непредсказуемого развития народов и их жажды свободы. В противоположность гнетущей мифологии, которая обычно сопровождает конец века, та, что существует сегодня, кажется, должна положить начало резкому усилению финального процесса, новой надежде, росту всех ставок.

При ближайшем рассмотрении это событие представляется несколько таинственным, и его можно было бы сопоставить с «историческим» неидентифицируемым объектом. Несомненно, эта оттепель, имевшая место в восточных странах, это высвобождение свободы из-под глыб льда являет собой необычную ситуацию, но чем становится свобода после того, как она выведена из замороженного состояния? Рискованная операция с весьма двусмысленным результатом (единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что невозможно снова заморозить то, что однажды было разморожено). СССР и страны Восточного блока представляли собой, одновременно с морозильной камерой,

испытательный стенд и экспериментальную установку для свободы, ибо именно там она была секвестирована и подвергнута высокому давлению. Запад же есть хранилище или, скорее, свалка свободы и Прав Человека. Если сверхзамораживание было отличительным отрицательным знаком Востока, то сверхжидкое, газообразное состояние нашего Запада еще более сомнительно, ибо благодаря освобождению и либерализации нравов и мнений проблемы свободы здесь просто не существует. Виртуально эта проблема уже решена. На Западе Свобода, идея свободы умерла самой настоящей смертью, и ее исчезновение четко прослеживается во всех недавних воспоминаниях. На Востоке она была убита, но преступление никогда не бывает безукоризненным. С экспериментальной точки зрения будет интересно увидеть, что делается со свободой, когда она снова появляется на поверхности, когда ее воскрешают, предварительно уничтожив все ее признаки. Мы увидим, что получится из процесса реанимации и посмертной реабилитации. Оттаявшая свобода, быть может, и не столь лицеприятна. А что, если мы заметим, что единственное, в чем она проявляет поспешность — это в рвении к автомобилям, электробытовым приборам и даже к психотропным средствам и порнографическим фильмам, т. е. в том, что немедленно перейдет в жидкое состояние, свойственное Западу, в стремлении от одного конца истории, где царила мерзлота, перейти на другой конец — к флюидам и движению? Но особенно увлекательное зрелище являет собой не то, как покорно восстанавливают на Востоке поправляющуюся демократию, привнося в нее новую энергию (и новые рынки). Интереснее всего наблюдать, как сталкиваются две специфические разновидности конца Истории: та, где История прекращает существование, дойдя до точки замерзания и концентрационных лагерей, и та, где она завершается полной центробежной экспансией средств коммуникации. В обоих случаях речь идет об окончательном решении, и, возможно, оттепель в отношении прав человека является социалистическим эквивалентом "разгерметизации Запада": речь идет о простом рассеяньи в западном вакууме сил, которые в течение полувека были секвестированы на Востоке.

Горячность, с которой развиваются события, может быть обманчива, если в странах Востока она есть не что иное, как стремление избавиться от идеологии, миметическая тяга к либеральным странам, где всю свободу уже променяли на технические средства, облегчающие жизнь. В таком случае мы узнаем, чего же на самом деле стоит свобода, и поймем, что, наверное, во второй раз ее обрести невозможно — История никогда не подает своих блюд повторно. Напротив, эта оттепель на Востоке может оказать столь же пагубное длительное воздействие, как избыток углекислого газа в верхних слоях атмосферы, ибо создается политический парниковый эффект: такое потепление человеческих отношений в результате оттаивания льда, примерзшего к коммунистическому берегу, приведет к затоплению всех западных берегов. Любопытно, что, опасаясь климатического таяния льдин и припая, в плане политическом мы, из демократических побуждений, стремимся к этому изо всех сил.

Если бы в "старые времена" Советский Союз выбросил на мировой рынок свой золотой запас, этот рынок полностью утратил бы свою стабильность. Если страны Востока приведут в движение весь огромный запас свободы, который они удерживали, то тем самым лишится стабильности хрупкий метаболизм ценностей Запада, который желает свободы не как действия, но как виртуального согласованного взаимодействия, не как драмы, но как глобальной психологической драмы либерализма. Внезапная инъекция свободы, как реальный обмен, как грубая и активная трансцендентность, как Идея, была бы целиком катастрофичной для нашей существующей в определенном температурном режиме формы распределения ценностей. Однако это как раз то, чего мы от них требуем: свобода или видимость свободы в обмен на материальные символы свободы. Получается поистине дьявольский договор, при котором одни рискуют потерять свою душу, другие — свой комфорт. Но, быть может, так даже лучше для обеих сторон.

Замаскированное общество, представленное коммунистическими странами, сбросило свои маски. И каково же его лицо? Что до нас, мы свое лицо обнажили уже давно, и теперь у

нас нет ни масок, ни лица. Также, как нет и памяти. Мы словно ищем в воде бесследно исчезнувшую память, иначе говоря, надеемся, что, быть может, что-то осталось, тогда как исчезли даже мельчайшие следы. То же можно сказать и о свободе: нам было бы весьма затруднительно воспроизвести какой-либо ее признак, и теперь мы упорно добиваемся ее существования — ничтожно малого, неощутимого, необнаруживаемого — в среде со столь высокой степенью разбавленности (программной и операционной), что только ее призрак витает в памяти, которая есть не что иное, как память воды.

Источник свободы на Западе настолько истощился (и свидетельство тому — празднование годовщины Революции), что все наши надежды устремлены на ее открытые и выявленные залежи на Востоке. Но как только запас свободы оказывается высвобожденным (сама Идея Свободы стала такой же редкой, как природные богатства), какие последствия это может иметь, кроме интенсивной поверхностной энергии обмена, подобно тому, как это происходит на любом рынке, и последующего быстрого обвала дифференцированных энергий и ценностей?

Что являет собой Гласность? Ретроактивная прозрачность всех символов современности в ускоренном темпе и из вторых рук (это почти постмодернистский римейк нашей первоначальной версии современности), всех позитивных и негативных символов вперемешку, т. е. речь идет не только о правах человека, но и о преступлениях, катастрофах, несчастных случаях, число которых в СССР с начала либерализации режима радостно возрастает. Даже вновь появившаяся порнография, до сих пор подвергавшаяся строгой цензуре, теперь, как и все остальное, празднует свое возрождение.

Это и есть эксперимент глобальной оттепели: мы видим, что преступления, ядерные или природные катастрофы, все то, что прежде подавлялось, составляет часть прав человека (это, разумеется, касается и религии и моды без всяких исключений) и являет собой хороший урок демократии. Так как здесь мы видим демонстрацию всего того, чем являемся сами, всех так называемых всеобщих эмблем человеческого рода в виде идеальной галлюцинации и возвращения всего подавлявшегося ранее, включая все самое худшее, все самое пошлое и самое затертое в западной «культуре», — все это отныне будет безграничным. Это — момент истины для этой культуры, подобный тому, что имел место при столкновении ее с дикими культурами остального мира (но нельзя сказать, что она действительно вышла из этой ситуации). Ирония в том, что, быть может, однажды именно нам придется спасать историческую память о сталинизме, когда страны Востока окончательно забудут о нем. Нам надо будет хранить в замороженном состоянии память о тиране, который сам замораживал ход истории, потому что эта эпоха обледенения также составляет часть всеобщего достояния.

Эти события знаменательны и с другой точки зрения. Тем, кто в своей добродетели враждебно настроены к Идее конца истории, следовало бы задаться вопросом о повороте, который совершает История в событиях сегодняшнего дня, двигаясь не только к своему концу, составляющему часть ее линейного фантазма, но и к переворачиванию собственной сути и систематическому стиранию. Сейчас мы идем к тому, чтобы стереть весь XX век, стереть один за другим все симптомы холодной войны, может быть, даже все, что напоминает о второй мировой войне и обо всех политических и идеологических революциях века. Воссоединение Германии и многие другие события неизбежны, не в смысле скачка Истории вперед, но в смысле переписывания заново всего XX века, которое займет последнее его десятилетие. Двигаясь в том же направлении, мы, вероятно, вскоре вернемся к Священной Романо-Германской Империи. И в этом, быть может, и есть озарение этого конца века, подлинный смысл противоречивой формулы конца Истории. Дело в том, что мы, с энтузиазмом проделывая погребальную работу, принижаем все знаменательные события этого века, мы обесцвечиваем его, как если бы все, что в нем произошло (революции, передел мира, массовые истребления, насильственная транснационализация государств, ядерная напряженность), короче, История на ее нынешней стадии была бы не чем иным, как безысходным клубком противоречий, и как если бы все принялись разрушать эту историю с таким же энтузиазмом, с каким создавали ее. Реставрация, упадок, реабилитация,

восстановление старых границ, старых различий, особенностей, религий, покаяние — даже на уровне обычаев — кажется, что все признаки освобождения, приобретенные в течение века, затушевываются и, быть может, в конце концов совсем исчезнут один за другим: мы сейчас переживаем гигантский процесс ревизионизма, но это — не идеологический процесс, а пересмотр всей Истории, и, кажется, мы спешим достичь этого еще до окончания века, быть может, в тайной надежде в новом тысячелетии начать все с нуля. А что, если мы смогли бы все восстановить в первозданном виде? Но с какого периода следовало бы начать? С того, что предшествовал XX веку, или с предреволюционного? И куда может завести нас это устранение, это принижение? И (как показывают события на Востоке) этот процесс может развиваться в очень быстром темпе именно потому, что речь идет не о созидании, а о мощном разрушении Истории, которое едва не принимает вирусную эпидемическую форму. В конечном итоге возможно, что 2000-й год вообще не наступит, как мы это предполагали прежде, просто потому, что изгиб Истории в противоположную сторону окажется столь явно выраженным, что уже будет невозможно преодолеть горизонт времени.

Вероятно, История станет асимптотической траекторией, бесконечно приближающейся к своему конечному значению, но никогда его не достигающей и в конце концов удаляющейся от него в противоположном направлении.

СУДЬБА ЭНЕРГИИ

Все описанные здесь события подчиняются двойной диагностике: физической и метафизической. С физической точки зрения мы, по-видимому, имеем дело с неким гигантским фазовым переходом в человеческой системе, утратившей равновесие. Этот фазовый переход как физическая схема остается для нас полной тайной, но сама по себе эта катастрофическая эволюция не является ни благоприятной, ни пагубной, она просто катастрофична в буквальном смысле слова.

Прототипом этого хаотического отклонения, этой сверхчувствительности к начальным данным является судьба энергии. Все другие культуры зависели от обратимой связи с миром, от устойчивого предписания, куда входили энергетические составляющие, но никогда — принцип освобождения энергии. Энергия — это первое, что должно быть высвобождено, и по этой модели будут рассчитываться все последующие процессы высвобождения. И сам человек был освобожден как источник энергии, вследствие чего он становится движущей силой истории и средством ее ускорения.

Энергия представляет собой некую фантастическую проекцию, питающую все индустриальные и технические замыслы современности, и именно она искривляет концепцию человека в смысле динамики воли. В то же время из проделанного новейшей физикой анализа явлений турбулентности, хаоса и катастрофы нам известно, что любой поток, любой линейный процесс, когда его ускоряют, приобретает странную кривизну — кривизну катастрофы.

Катастрофа, которая нас подстерегает, заключается не в исчерпании ресурсов энергии: во всех формах ее будет все больше и больше, по крайней мере в течение отпущенного срока, за пределами которого это уже не коснется людей. Ядерная энергия неисчерпаема, как и энергия Солнца, энергия приливов и отливов; неисчерпаема даже энергия природных катастроф, подземных толчков, вулканов (техническим фантазиям вполне можно доверять). Но что, напротив, драматично — так это динамика нарушения равновесия, работа на пределе самой энергетической системы; именно это может в очень короткий срок повлечь за собой убийственное разлаживание всего механизма. Мы уже видели несколько наглядных примеров последствий освобождения ядерной энергии (Хиросима, Чернобыль), но потенциально катастрофична любая цепная реакция — будь то вирусная или радиоактивная. Ничто не защищает нас от тотальной эпидемии, даже гласисы, окружающие атомные электростанции. Может быть, вся система трансформации мира посредством энергии вступит в вирусную эпидемическую фазу, соответствующую самой сути энергии: издержки,

провалы, несоответствия, нарушения равновесия, катастрофы в миниатюре, которые вначале могут иметь и положительный эффект, но, отставая от своего собственного развития, приобретают размеры глобальной катастрофы.

Можно рассматривать энергию как причину, порождающую следствия, но эти следствия, воспроизводя сами себя, перестают подчиняться какой бы то ни было причинности. Парадокс энергии состоит в том, что она является одновременно и революцией причин, и революцией следствий (при этом обе революции почти не зависят друг от друга), а также в том, что энергия становится не только местом сцепления причин, но и местом расцепления следствий.

Энергия вступает в стадию переохлаждения, и вся система трансформации мира вступает в эту же стадию. Из материальной, продуктивной, переменной энергия превращается в головокружительный процесс, подпитывающий самого себя (впрочем, поэтому не существует риска, что мы испытаем ее дефицит).

Взглянем на Нью-Йорк. Это же чудо, что каждое утро все начинается заново, при том, что накануне было израсходовано столько энергии. Это невозможно объяснить, если не учитывать, что не существует рационального принципа потери энергии, что функционирование такого мегаполиса, как Нью-Йорк противоречит второму началу термодинамики, что мегаполис подпитывается собственным шумом, собственными выбросами углекислого газа, и энергия при этом рождается из потери энергии, т. е. происходит некое чудо замены. Эксперты, рассчитывая только количественные данные энергетической системы, недооценивают естественный источник энергии, каковым является само ее расходование. В Нью-Йорке этот расход энергии приобрел благодаря собственному образу характер зрелища, накаленного до предела. То, что говорил Джарри об этом переохлаждении энергии в контексте сексуальной активности ("супермужчина"), справедливо и в отношении умственной энергии, и энергии механической: так, некоторые из велосипедистов, участвовавших в гонке преследования вдоль Транссибирской магистрали, умирали, но при этом продолжали крутить педали. Трупное окоченение превращается в трупную мобильность, смерть крутит педали до бесконечности, даже ускоряя ход в соответствии с законом инерции. Энергия оказывается сверхвозросшей за счет инерции смерти.

Это похоже на "Басню о пчелах" Мандевилля: энергия, богатство, положение в обществе приходят благодаря порокам, болезням, излишествам и проявлениям слабости. Обратная сторона постулата экономики состоит в том, что если что-либо истрачено, необходимо, чтобы оно было воспроизведено. На самом деле это не так. Чем больше расходов, тем больше растет энергия и богатство. Такова энергия катастрофы, предвидеть которую, вероятно, не под силу никакому экономическому расчету. Некоторая форма экзальтации, присущая интеллектуальным процессам, сегодня может быть обнаружена и в процессах материальных.

Все эти вещи мало вразумительны, если говорить о них в терминах эквивалентности; они становятся доступны пониманию лишь тогда, когда мы прибегаем к терминам обратимости и гиперинфляции.

Таким образом, энергия жителей Нью-Йорка приходит к ним из загрязненного воздуха, из ускорения, из паники, из условий, в которых невозможно дышать, из немыслимой для человека окружающей среды. Весьма вероятно, что наркотики и другие виды принудительной деятельности, порожденные этой энергией, входят в стоимость жизнедеятельности и в валовой метаболизм города. Сюда входят как наиболее почитаемые, так и наиболее презренные занятия. Цепная реакция тотальна. Исчезла всякая идея нормального функционирования. Все живые существа вступают в сговор, как сказали бы в XVIII веке, охваченные одной и той же распущенностью, одним и тем же чрезмерно драматизированным возбуждением, которое в значительной мере выходит за рамки жизненной необходимости и скорее походит на навязчивую идею выжить, на холодный интерес к выживанию, охватывающий всех и подпитываемый своей собственной яростью.

Отговаривать людей от этой расточительности, от этого мотовства, от нечеловеческого ритма жизни было бы двойной ошибкой: с одной стороны, потому что они находят в том, что могло бы довести до истощения нормальные существа, источники анормальной энергии, а с другой — они ощутили бы себя униженными, если бы им пришлось приостановить и экономить энергию, это было бы деградацией устоявшегося коллективного образа жизни во всех его излишествах и городской мобильности, подобной которой нет нигде в мире и которую они сами сознательно или бессознательно создают.

Риск, которому подвергается человеческий род, связан скорее не с нехваткой, вызванной истощением природных ресурсов, грабительским отношением к окружающей среде и т. д., но с излишествами: это работа энергии в пределе, неконтролируемая цепная реакция, безумное стремление к самоуправлению. Это различие весьма существенно, поскольку, если на риск, связанный с нехваткой, можно каким-то образом ответить положениями Новой Политической Экологии, принципы которой на сегодняшний день уже узаконены и входят в Международные нормы охраны окружающей среды, то абсолютно ничто не может противодействовать этой внутренней логике, этому ускорению, которое играет с природой то на уравнивание, то на удвоение ставок. Если, с одной стороны, можно задействовать этические принципы, т. е. возвышенную конечную цель материального процесса (даже если эта цель — простое выживание), то, с другой стороны, процесс имеет своей конечной целью лишь стремительный безграничный рост, он поглощает всякие возвышенные помыслы и пожирает своих исполнителей. И, таким образом, среди повсеместно бушующей шизофрении можно увидеть и то, как развиваются все экологические мероприятия, стратегия рационального использования мира и идеального взаимодействия с ним, но также и то, как одновременно распространяются предприятия, направленные на опустошение и оголтелый успех. Впрочем, зачастую одни и те же предприятия участвуют в обоих процессах разом. И вообще, если предназначение первого движения может показаться относительно ясным (сохранение окружающей среды посредством экологических воззваний), то что мы знаем о тайном предназначении второго? Может быть, в конце этого ускоренного, эксцентричного движения находится судьба человечества, совершенно иное символическое отношение с миром, гораздо более сложное и двойственное, чем отношение равновесия и взаимодействия? Предназначение неизбежное, но таящее в себе всеобщий риск.

Если таковым и должно быть наше предназначение, то очевидно, что разумные божества экологии ничего не смогут поделать против безудержного устремления техники и энергии к непредсказуемому концу этой своего рода Большой Игры, правила которой нам неведомы. Мы беззащитны даже перед негативными эффектами, которые несут в себе меры безопасности, контроля и профилактики. Известно, к каким опасным крайностям может привести профилактика во всех сферах — социальной, медицинской, экономической, политической: во имя самой надежной безопасности может установиться режим террора на локальном уровне, навязчивая идея контроля, зачастую подобная эпидемической опасности катастрофы. Ясно одно: сложность начальных данных, потенциальная обратимость всех действий приводят к тому, что нельзя строить иллюзии в отношении какой-либо формы рационального вмешательства. Перед лицом процесса, столь значительно превосходящего индивидуальную или коллективную волю действующих лиц, остается лишь допустить, что всякое различие между добром и злом (и в этом смысле возможность судить о справедливости технологического развития) приобретает значимость лишь на самом краю нашей рациональной модели. В пределах этих границ возможны этические размышления и-практические определения. Но по другую их сторону, на уровне процесса, который мы сами привели в действие и который теперь протекает без нашего участия, с неумолимостью природной катастрофы царит (к счастью или к несчастью) неразделимость добра и зла и, тем самым, невозможность осуществления одного без другого — в этом, собственно, и состоит теорема о проклятой стороне вещей. И здесь неуместны вопросы о том, должно ли так быть, так оно есть, и не признавать того, что существует, означало бы впасть в самое большое

заблуждение. Сказанное не опровергает того, что может быть сделано в этической, экологической и экономической сферах нашей жизни, но оно полностью переносит значение всего этого на символический уровень — уровень судьбы.

ТЕОРЕМА О ПРОКЛЯТОЙ СТОРОНЕ ВЕЩЕЙ

Есть одно ужасающее последствие непрерывного созидания позитивного. Если негативное порождает кризис и критику, то позитивное, возвеличенное до уровня гиперболы, порождает катастрофу в силу невозможности выделить кризис и критику даже в гомеопатических дозах. Любая структура, которая преследует, изгоняет, заклинает свои негативные элементы, подвергается риску катастрофы ввиду полного возвращения к прежнему состоянию, подобно тому, как биологическое тело, которое изгоняет зародышей бацилл, паразитов и иных биологических врагов, избавившись от них, подвергается риску рака и метастазов, иначе говоря, риску возникновения позитивного, пожирающего свои собственные клетки, или же вирусному риску, проявляющемуся в угрозе оказаться пожранным своими собственными антителами, оставшимися теперь без применения.

Все, что извергает из себя проклятую сторону своей сути, подписывает себе смертный приговор. В этом и состоит теорема о проклятой стороне вещей.

Энергия проклятой стороны вещей, ее неистовая сила принадлежат принципу Зла. Под прозрачным покровом согласия непрозрачность Зла, его стойкость, одержимость, непреодолимость, энергия изменяют порядок повсюду, проявляясь в нерегулируемом потоке вещей, в распространении вирусов, в ускоренной работе в режиме перегрузок, в выходе за пределы причинности, в эксцессах и парадоксах, в полнейшей необычности, в странных аттракторах, в невнятных сцеплениях.

Принцип Зла лишен морали, это принцип неравновесия и помутнения разума, принцип сложности и странности, принцип совращения, принцип несходимости, антагонизма и непреодолимости. Это не есть принцип смерти, совсем наоборот, это жизненный принцип разрушения связей. Со времен рая, которому положил конец сам факт его сотворения, принцип Зла есть принцип познания. Если мы были изгнаны из рая за наказуемое действие, то давайте по крайней мере извлечем из этого все преимущества. Любая попытка искупления проклятой стороны нашей сути, искупления принципа Зла может лишь учредить новый искусственный рай, искусственный рай согласованности, которая и есть истинный принцип смерти.

Исследование современных систем с присущими им катастрофическими формами, с их провалами, апориями, способами достижения успеха и манерой приходить в исступленный восторг от собственной деятельности приводит к новому повсеместному проявлению теоремы о проклятой стороне вещей и к ее воцарению, глобальному подтверждению ее нерушимого символического могущества.

Переход на сторону принципа Зла предполагает суждение не только критическое, но и криминальное. Это суждение остается в любом обществе, даже либеральном (как наше!), хотя об этом и не говорят во всеуслышание. Всякая позиция, которая принимает сторону бесчеловечности или принципа Зла, отвергается любой системой ценностей (под принципом Зла я подразумеваю лишь простое высказывание некоторых жестоких истин по поводу ценностей, права, власти, действительности…). И в этом смысле нет никакой разницы между Востоком и Западом или Югом и Севером. Нет никаких шансов увидеть конец этой нетерпимости, непроницаемой и прозрачной, как стена из стекла, и никакой прогресс — ни нравственный, ни безнравственный, не в силах ничего здесь изменить.

Мир так наполнен позитивными эмоциями, наивной сентиментальностью, канонизированным тщеславием и угодливостью, что ирония, насмешка и субъективная энергия зла в нем всегда оказываются более слабыми. При том ходе вещей, который мы наблюдаем сегодня, любое сколь угодно малое негативное движение души быстро становится тайным. Малейший интеллектуальный намек уже становится непонимаемым.

Скоро мы лишимся возможности высказывать какую бы то ни было оговорку. Не останется ничего, кроме отвращения и подавленности.

К счастью, злой гений проник повсюду, воплотившись в объективную энергию зла. Пусть люди как угодно назовут это нечто, прокладывающее себе дорогу: проклятой стороной вещей или странным аттрактором, судьбой или ощутимой подчиненностью начальным данным, — нам не уйти от этого нарастающего могущества, от этой экспоненциальной траектории, от этой подлинной патафизики эффектов, не поддающихся измерению. Эксцентричность наших систем неотвратима. По словам Гегеля, мы существуем в жизни, которая движется внутри самой себя посредством того, что есть смерть. По ту сторону определенных границ нет больше отношений причинности, ведущих к определенному результату, есть только вирусные отношения, стремящиеся от одного результата к другому, а система в целом движется по инерции. Кинопленка, демонстрирующая этот рост могущества, эту быстроту и ужас смерти, и есть современная история проклятой стороны вещей. Нет нужды стремиться к тому, чтобы найти объяснение этому, в наши дни надо стать зеркальным отражением этого процесса. Надо превзойти скорость событий, которые сами уже давно превзошли скорость освобождения. Надо говорить о непоследовательности, аномалии, катастрофе, надо признать жизнеспособность всех этих экстремальных явлений, которые пускают в ход уничтожение, прибегая при этом к неким таинственным правилам игры.

Зло, как и проклятая сторона вещей, возрождается за счет собственного расходования. Это аморально с экономической точки зрения, как аморальна, возможно, неразделимость Добра и Зла с точки зрения метафизической. Это — насилие, совершаемое над разумом, но надо признать жизненность этого насилия, этого непредусмотренного перегиба, который уводит все сущее по ту сторону от предназначенных целей, ставя его в сверхзависимость от другого конечного состояния — какого именно?

Всякое освобождение затрагивает в одинаковой степени и Добро, и Зло. Оно приносит свободу нравов и умов, но оно же дает волю преступлениям и катастрофам. Освобождение права и наслаждения неотвратимо ведет к освобождению преступления (это очень хорошо понимал маркиз де Сад, чего ему так никогда и не простили).

Перестройка в СССР, наряду с этническими и политическими требованиями, сопровождается увеличением числа несчастных случаев и природных катастроф (включая вновь открытые преступления и несчастные случаи прошлых лет). На поверхности либерализации и расширения прав человека показывается некий спонтанный терроризм. Говорят, что все это уже существовало прежде, но тогда не вызывало ничего, кроме цензурных запретов. (Одна из самых существенных претензий к сталинскому режиму состоит в том, что от нас было скрыто множество кровавых событий, благодаря цензуре не ставших достоянием никого, кроме будущих поколений, которые увидят в них лишь необдуманные политические акции. Сталинский режим упрекают в том, что он вымораживал из этих сладострастных, кровоточащих форм преступления, которые они в себе таили, — то есть в том, что этот режим нарушил универсальный закон об информации, как и нацистский режим, державший в тайне Холокост, который был также реально совершенным преступлением.)

Однако происходит нечто большее, чем просто отмена цензуры: преступления, срывы, катастрофы поистине устремляются на экран гласности, словно мухи на искусственный свет (кстати, почему они не летят на естественный, дневной свет?). Этот рост катастроф является результатом увлечения и подлинной игривости природы и спонтанной склонности к проказам, которая присуща технике и напоминает о себе, как только политические условия становятся благоприятными. Оставаясь длительное время в замороженном состоянии, катастрофы и преступления радостно и вполне официально совершают свой выход на сцену. Если бы их не было, их следовало бы выдумать, настолько отчетливо они являют собой истинные признаки свободы и присущий миру естественный беспорядок.

Эта совокупность Добра и Зла превосходит нас, но мы должны полностью ее принять.

Никакое понимание вещей невозможно вне этого основного правила. Иллюзия, что можно отделить Добро от Зла с тем, чтобы развить то или другое, просто абсурдна (это обрекает на бессилие тех, кто стремится платить злом за зло, ибо в конце концов они творят добро).

Все события здесь, перед нами, но предугадать их невозможно. Они уже совершились ранее или вот-вот настигнут нас. Все, что мы можем сделать, — это хоть как-то настроить проектор и сохранять телескопическое окошко в виртуальный мир, надеясь, что некоторые из этих событий окажутся столь любезны, что попадут туда. Теория не может быть ничем иным, кроме ловушки, расставленной в надежде, что реальность окажется достаточно наивной, чтобы попасть в нее.

Главное — направить проектор в нужном направлении. Но нам неизвестно, какое это направление. Надо обыскивать все небо. По большей части речь идет о событиях метафизически столь отдаленных, что они не вызывают на экране ничего, кроме легкого свечения. Их надо проявлять и увеличивать, как фотографии. Не для того, чтобы постичь их смысл, ибо они суть голограммы, а не логограммы. Их можно объяснить не более, чем зафиксированный спектр излучения звезды или красное смещение.

Чтобы заполучить эти странные события, надо создать нечто странное из самой теории. Она должна уподобиться либо совершенному преступлению, либо странному аттрактору.

РАДИКАЛЬНОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ

Медуза представляет собой извращение столь радикальное, что на нее нельзя смотреть, не погибнув при этом.

АД ТОГО ЖЕ САМОГО

Из всех протезов, которые веками отличают историю тела, двойник, без сомнения, самый древний. Строго говоря, двойник не есть протез в собственном смысле слова: это воображаемая фигура, которая, будучи душой, тенью, отображением в зеркале, преследует, словно нечто себе подобное, подвластный ей субъект, так что он, оставаясь самим собой, навсегда теряет свою суть, преследует в образе ощутимой и всегда предотвращаемой смерти. Впрочем, эту смерть не всегда можно предотвратить: когда двойник обретает материальную оболочку и становится видимым, он несет неминуемую гибель.

Иначе говоря, воображаемое могущество и богатство двойника, которое заставляет подчиненного субъекта ощущать одновременно и отчуждение от самого себя и близость к самому себе, основывается на его нематериальности, на том, что двойник был и остается фантазмом. Каждый из нас волен мечтать и, вероятно, мечтал всю жизнь о дублировании или совершенном размножении своего существа, но это остается всего лишь мечтой и разрушается, как только мечта пытается воплотиться в реальность. То же самое можно наблюдать и в сцене обычного обольщения: оно возможно лишь тогда, когда воплощается в образы, в воспоминания, не обретая при этом формы реальности. Предназначением нашего времени было изгнание этого фантазма, как и всех других. Это означало придать ему материальную сущность из плоти и крови и, что является уже полной бессмыслицей, изменить игру двойника посредством изощренной подмены смерти с присущим ей стремлением к Другому вечностью Того же самого.

Клонирование — это бесконечное размножение людей черенками, при том, что каждая клетка индивидуального организма может стать матрицей для идентичного индивида. В Соединенных Штатах, вероятно, дети будут появляться на свет подобно герани. Ребенок будет произведен из одной клеточки одного-единственного организма — своего отца-производителя и будет его точным слепком и абсолютным близнецом.

Мечта о бесконечном воспроизведении своих точных копий-близнецов, призванном

заменить половое размножение, которое несет в себе идею смерти. Клеточная мечта о размножении делением, наиболее чистой форме рождения, позволяющей обходиться без партнера и идти от подобного к подобному, — многоклеточная утопия, сводящая благодаря генетике сложные организмы к простейшим одноклеточным.

Не импульс ли смерти подталкивает существа, наделенные половыми признаками, к формам размножения, предшествовавшим половому? (Разве эта форма размножения делением, это воспроизводство и быстрый рост путем непосредственного соприкосновения не равносильны в глубине нашего воображения смерти и импульсу смерти?) Не этот ли импульс метафизически противиться любому изменению, любому искажению Того же самого и стремится лишь к увековечению идентичности, к прозрачности генетического кода, пусть даже более подверженной перипетиям зарождения?

Но отвлечемся от импульса смерти. Может быть, речь идет о фантазме порождения самого себя? Нет, ибо порождение всегда проходит через образы матери и отца, образы родителей, наделенных половыми клетками. Субъект может мечтать о том, чтобы стереть эти образы, подменяя их самими собой, но он не в силах опровергнуть символическую структуру воспроизводства: стать своим собственным ребенком, а это значит — оставаться ребенком кого-то другого. Клонирование же радикально устраняет мать и отца, переплетение их генов, смешение их различий, но, главным образом, двойственность акта, являющего собой зарождение. Тот, кто вступает на путь клонирования, не порождает самого себя; он пускает почки от каждого своего сегмента. Можно рассчитывать на богатство этих вегетативных ответвлений, которые действительно решают проблему эдиповой сексуальности в пользу «нечеловеческого» секса, секса, состоящего в простом соприкосновении и в незамедлительном делении. Таким образом, о фантазме порождения самого себя речи идти не может. Отец и мать исчезли, но не в пользу проблематичной свободы субъекта, а в пользу матрицы, именуемой кодом. Нет более ни матери, ни отца: есть только матрица. И именно она, матрица генетического кода, отныне и навек занимается «деторождением» операционным способом, очищенным от какой бы то ни было случайной сексуальности.

Нет более и самого субъекта, так как идентичное удвоение кладет конец его раздвоенности. Стадия зеркала исчезла в клонировании или, скорее, осталась там в качестве чудовищной пародии. Точно также клонирование не оставляет ничего и от древней нарциссической мечты субъекта осуществить проекцию в свое идеальное alter ego ["второе я"], так как эта проекция проходит через еще одно изображение: изображение в зеркале, глядя на которое субъект испытывает отчуждение от самого себя, вновь обретая затем свой образ, или же изображение обольстительное и смертельное, в котором субъект видит себя и затем умирает. Ничего этого не существует в клонировании. Нет ни медиума, ни изображения его — не более, чем отражения одним промышленным товаром серийного производства другого, который произведен вслед за первым. Одно никогда не становится идеальным или смертельным миражом другого, одно и другое могут лишь дополнять друг друга, а если они не способны ни на что, кроме взаимного дополнения, то это потому, что были рождены неполовым путем, и смерть им неведома.

Речь идет даже не о близнецах, ибо у тех имеются свои особые свойства, особое священное очарование того, что существует Вдвоем, что изначально было двойней и никогда — единицей. Тогда как клонирование освящает повторение Того же самого: 1+1+1+1+…

Не будучи ни ребенком, ни близнецом, ни самовлюбленным отражением, клон есть материализация двойника генетическим путем, иначе говоря — отмена, уничтожение всех возможных изменений и всего нереального.

Сегмент нуждается в нереальном посредничестве для самовоспроизводства не больше, чем земляной червь: каждый сегмент червя воспроизводится самостоятельно, так же, как и целый червь, как любая ячейка американского PDG может воспроизводить новый PDG, как каждый фрагмент голограммы может стать матрицей всей голограммы: в каждом отдельном фрагменте голограммы информация остается полной, может быть, лишь с поправкой на

минимальную разрешающую способность.

Именно так кладется конец целостности. Если вся информация содержится в каждой из частей, то их соединение теряет свой смысл. Это также и конец тела, всего того многообразия, которое именуется телом, чей секрет как раз в том, что оно не может быть разделено на взаимно дополняющие клетки, в том, что оно представляет собой неделимую конфигурацию, о чем свидетельствуют его половые признаки. Но вот парадокс: клонирование всегда будет производить существа, имеющие половые признаки, потому что они подобны своим моделям, в то время как секс становится, благодаря клонированию, бесполезной функцией. Но, строго говоря, секс — не функция, это именно то, что делает тело телом, то, что превалирует над всеми другими функциями тела. Секс (или смерть) — это то, что превосходит любую информацию, которую можно получить о теле. Вся эта информация объединена в генетической формуле. И эта генетическая формула должна проложить себе путь автономного воспроизводства независимо от сексуальности и смерти.

Наука, в лице биологии, анатомии и физиологии, уже приступила путем тщательного анализа органов и функций к процессу аналитического расчленения тела, и молекулярная генетика, вокруг которой и разворачивается вся фантасмагория, есть лишь логическое следствие этого, но на более высоком, отвлеченном и модельном уровне, на уровне управления ядром клетки, на уровне самого генетического кода.

С механистической и функциональной точки зрения каждый орган есть не что иное, как отдельный протез, отличный от других: это уже имитация, но пока еще «традиционная». С кибернетической и информационной точки зрения — это самый маленький недифференцируемый элемент, и каждая клетка тела становится эмбриональным протезом данного тела. Генетическая формула, записанная в каждой клетке, становится настоящим современным протезом всех тел. Если в общепринятом понимании протез представляет собой артефакт, замещающий неполноценный орган, то молекула ДНК, заключающая в себе всю информацию относительно тела, — превосходный протез, который позволит продлить тело до бесконечности за счет его самого, поскольку само тело представляет собой лишь бесконечную серию протезов.

Кибернетический протез бесконечно тоньше и искуснее, чем любой механический, так как генетический код не является «естественным»: коль скоро всякая абстрактная часть целого, став зависимой, превращается в искусственный протез, который фальсифицирует это целое, подменяя его собой (про-тезис — такова этимология этого слова), то можно сказать, что генетический код, вбирающий в себя всю квинтэссенцию существа, ибо именно в нем, как полагают, содержится вся «информация» об этом существе (здесь перед нами невероятная сила генетического моделирования), представляет собой артефакт, абстрактную матрицу, от которой могут вести свое начало идентичные существа, предназначенные для исполнения одних и тех же приказаний, существа, появляющиеся даже не посредством воспроизводства, а путем самой простой пересылки.

"Мое генетическое достояние было раз и навсегда зафиксировано, когда некий сперматозоид встретил некую яйцеклетку. Это достояние предполагает поступления от всех биохимических процессов, которые меня реализовали и теперь обеспечивают мое функционирование. Копия этих поступлений записана в каждой из десятков миллиардов клеток, составляющих на сегодняшний день мой организм. Каждая клетка знает, как меня произвести: прежде чем стать клеткой моей печени или моей крови, она является клеткой меня. Таким образом, теоретически возможно создать идентичного мне индивидуума, исходя из одной из моих клеток". (А. Жакар)

Клонирование — это последняя стадия истории моделирования тела, стадия, на которой индивидуум, сведенный к своей абстрактной генетической формуле, обречен на серийное размножение. И здесь следует вспомнить, что говорил Уолтер Бенджамен о произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Из произведения серийного выпуска исчезает его аура, то особое качество, которое проявляется при непосредственном созерцании подлинника, его эстетическая форма. И тогда произведение,

которое постигает неизбежная судьба репродукции, принимает, по словам Бенджамена, политическую форму. Оригинал утерян, и одна лишь история, ностальгически ретроспективная, в состоянии восстановить его «подлинность». Наиболее экспрессивные, наиболее модернистские формы этого течения, которые отражают современные средства массовой информации — фотография и кино, ибо эти формы таковы, что оригинал не появится более никогда, так как с самого начала предметы замышляются в контексте неограниченной репродукции.

Когда начинается клонирование, нечто подобное происходит с нами уже не только на уровне сообщений, но и на уровне индивидуумов. В сущности, именно это и происходит с телом, когда из него хотят создать лишь некое сообщение, некую информационную субстанцию. И тогда не остается ничего такого, что могло бы противиться серийному воспроизводству, о котором можно говорить в терминологии, идентичной той, что использует Бенджамен, рассуждая о промышленных товарах серийного производства и об изображениях, предлагаемых нам средствами массовой информации. Существует прецессия воспроизводства относительно производства, прецессия генетической модели над всеми возможными телами. Это ниспровержение порядка вещей обусловлено вторжением технологии, той самой, которой Бенджамен в своих последних умозаключениях приписывает роль всеобщего медиума и гигантского протеза индустриальной эпохи, управляющего производством идентичных предметов и изображений, различить которые уже невозможно никаким способом. И это при том, что мы не представляем себе уровень современного развития этой технологии, которая, производя идентичные существа, делает невозможным возврат к существу изначальному. Протезы индустриальной эпохи остаются пока еще наружными, экзотехническими, те же, которые нам известны, превратились во внутренние разветвленные протезы — в протезы эзотехнические. Мы живем в век податливой технологии, в век генетического и ментального software [программного обеспечения].

До тех пор, пока протезы старого индустриального "золотого века" оставались механическими, они еще старались обращать внимание на тело и, изменяя его образ, сами были при этом обратимо задействованы в метаболизме воображаемого мира, так что этот технологический метаболизм был составной частью образа тела. Но когда имитация достигает черты, за которой нет возврата, т. е. когда протез углубляется, проникает, просачивается внутрь неведомой микромолекулярной сердцевины тела, когда он вынуждает тело признать себя, протез, «изначальной» моделью, уничтожая при этом все возможные символические

окольные пути, могущие возникнуть впоследствии, так что любое тело становится не чем иным, как незыблемым повторением протеза, тогда приходит конец телу, его истории, его перипетиям. Индивидуум теперь являет собой некий раковый метастаз формулы, лежащей в его основе. И разве все индивидуумы, полученные в результате клонирования индивидуума X, представляют собой что-либо иное, нежели раковый метастаз — деление одной и той же клетки, наблюдаемое при раке?

Существует тесная связь между направляющей идеей генетического кода и патологией рака. Рак означает неограниченное деление базовой клетки, игнорирующее органические законы организма в целом. Точно также в клонировании ничто не противостоит возобновлению Того же самого, безудержному размножению из одной-единственной матрицы. Прежде размножение половым путем еще создавало препятствие клонированию, сегодня можно наконец изолировать генетическую матку от идентичной матрицы, так что можно будет избежать отличительных нюансов, составлявших проблематичное обаяние индивидуумов.

Если все клетки задуманы прежде всего как вместилище одной и той же генетической формулы (и это относится как к идентичным индивидуумам, так и ко всем клеткам одного и того же индивидуума), то что же они представляют собой, как не раковое распространение этой базовой формулы? Метастаз, начавшийся с серийного производства товаров, заканчивается на уровне клеточной организации. Бесполезно спрашивать себя, является ли

рак болезнью капиталистической эпохи. Эта болезнь действительно стоит во главе всей современной патологии, потому что она — сама форма вирулентности кода: чрезмерный избыток одних и тех же знаков, одних и тех же клеток.

Картина тела изменяется в ходе необратимой технологической «прогрессии». Метаморфозе подверглась сама схема единого организма. Традиционный протез, служащий для восстановления функций поврежденного органа, ничего не меняет в общей модели тела. Ничего не изменяет и трансплантация органов. Но что можно сказать о моделировании на ментальном уровне посредством психотропных препаратов и наркотиков? Здесь уже меняется картина тела. Тело, испытывающее воздействие психотропных средств, — это тело, «смоделированное» изнутри, оно уже не проходит более через перспективное пространство изображения, зеркала и речи. Это тело молчащее, оно обладает ментальностью, но имеет молекулярную (а не зеркальную) структуру, тело, в котором обмен веществ совершается сам собой, без участия действия или взгляда; тело имманентное, без фальсификации, сценариев и трансцендентности, тело, обреченное на имплозивный метаболизм продуктов деятельности мозга и эндокринной системы, тело, обладающее чувствительностью, но не способное к восприятию, ибо оно связано лишь с нервными окончаниями собственных внутренних органов, но не с предметами окружающего мира (поэтому оно может быть низведено до самого ничтожного, самого незначительного, "чистого уровня" чувствительности; для этого достаточно «отключить» его от его собственных сенсорных окончаний). Это тело уже однородно и находится на стадии осязательной пластичности, ментальной гибкости и насыщенности психотропными средствами (и каждое из этих свойств подобно некоему азимуту), эта стадия уже близка к манипуляциям на уровне генетического ядра, т. е. к полной утрате изображения. Подобные тела не в состоянии иметь какое-либо представление ни о самих себе, ни о других; преобразование генетической формулы или возникновение биохимической зависимости вытравило из них их сущность и смысл; они бесконечно далеки от своего воскрешения.

Мы более не практикуем инцест, но мы придали ему широкое толкование во всех его производных. Разница состоит в том, что наш инцест имеет место уже не на уровне секса или семьи; в своем инцесте мы уподобляемся скорее простым одноклеточным, размножающимся делением. Именно так мы повернули этот запрет — в сторону дробления Того же самого, совокупления Того же самого с тем, что ему подобно, минуя при этом Другого. Это все тот же инцест, в котором, однако, не усматривают никакой трагедии. В то же время, материализуя этот фантазм в его самой вульгарной форме, мы материализуем также и его проклятие, первородную мерзость, отвратность, которые разрастаются в нашем обществе по мере развития этой кровосмесительной ситуации. Может быть, ад, порожденный другими грехами, был бы для нас куда лучше, чем возврат к этой первородной форме столь отвратительного совокупления.

Если индивидуум не сталкивается с Другим, он вступает в конфликт с самим собой. Он становится своим собственным антителом, в результате наступательного низвержения иммунного процесса, нарушения его собственного кода, разрушения собственных защитных механизмов. Между тем, все наше общество с присущими ему антисептическими излияниями средств коммуникации, интерактивными излияниями, иллюзиями обмена и контакта нацелено на то, чтобы нейтрализовать отличия, разрушить Другого как естественное явление. При существовании в обществе средств массовой коммуникации оно начинает страдать аллергией на самое себя. Когда тело становится прозрачным для своей генетической, биологической и кибернетической сущности, оно испытывает аллергическую реакцию даже на собственную тень. Весь спектр отрицаемых отличий воскресает в виде саморазрушительного процесса. И в этом тоже кроется прозрачность Зла.

Отчужденности больше не существует. Нет Другого, который ощущался бы нами как взгляд, как зеркало, как помутнение. С этим покончено.

Отныне абсолютную угрозу несет в себе прозрачность того, что воспринимается нами как Другой. Коль скоро Другой, как зеркало, как отражающая поверхность, исчез,

самосознанию угрожает иррадиация в пустоте.

Что же касается утопии о преодолении отчужденности, то и ей пришел конец. Субъект не дошел до того, чтобы отрицать себя как такового в перспективе подведения итогов существования этого мира. Таким образом, нет и определенного отрицания субъекта, есть лишь неопределенность положения субъекта и неопределенность ситуации Другого. И в этой неопределенности субъект не в состоянии ни быть самим собой, ни обнаружить себя в Другом; отныне он являет собой лишь Того же самого. Разделение уступает место распаду на простые компоненты. И если Другой всегда таит в себе нечто, отличное от себя самого, то Тот же самый никогда не содержит ничего, кроме собственной сути. Это и есть наш идеальный современный клон: субъект, из которого вымарано все Другое, который лишен возможности разделения и обречен на метастазирование самого себя, на чистое повторение.

Это уже не ад, созданный отличием, это ад Того же самого.

"Два брата жили в замке. У каждого была дочь. Девочки были ровесницами. Их поместили в пансион и оставили там до восемнадцатилетия. Девочки были очень красивыми. И вот настала пора возвращаться в замок. По дороге в карете одной из кузин вдруг стало плохо, и она умерла И в ту же минуту в замке умер ее отец, ждавший дочь. Лишь одна из двух девушек вернулась домой, и ее отец раздел ее и овладел ею вопреки законам природы В тот же час оба поднялись в воздух и, полетав по комнате, вылетели в окно и начали кружить над деревней, так и застыв в кровосмесительном объятьи, которому не было конца И полет этой противоестественной пары, без крыльев парящей в воздухе, остро чувствуют все жители этой мирной деревни, ибо от пары этой исходят какие-то продолжительные дурные колебания. Повсюду распространяется беспокойство, паническая растерянность, непостижимый ужас, люди начинают совершать противные разуму действия, животные заболевают, дичают, растения проявляют тревогу, и все приходит в полный хаос".(Гвидо Саронетти)

МЕЛОДРАМА РАЗЛИЧИЯ

Но куда же проникли отличия?

Мы пребываем сейчас в оргии открытий, исследований, «изобретения» Другого. В оргии поиска различий. Двустороннего интерфейсного, интерактивного сводничества. Однажды пройдя по ту сторону зеркала отчужденности (стадия зеркала составляет наслаждение нашего детства), структурные различия быстро и нескончаемо распространяются в моде, обычаях, культуре. Пришел конец отличиям грубым, резким, связанным с расами, безумием, нищетой, смертью.

Отличие, как и все остальное, попало под закон рынка, спроса и предложения. Оно уподобилось продуктам питания. Отсюда его необычная котировка на Бирже психологических ценностей, на Бирже структурных ценностей. Отсюда и интенсивная имитация Другого, особенно ярко проявляющаяся в научной фантастике, где ключевая проблема всегда состоит в том, каков Другой и где Другой. Но научная фантастика создана по образу и подобию пространства нашей повседневности, где царит необузданная спекуляция и почти что черный рынок отличий и различий. Настоящая навязчивая экологическая идея, охватывающая диапазон от индейских резерваций до домашних животных (нулевая степень отличий!) не считается той, что относится к области бессознательного (это последний символический капитал, берегите его, надолго его не хватит, залежи его не бесконечны). Накопления отличий исчерпываются, мы исчерпали Другого как сырьевые ресурсы (вплоть до того, что, по словам Клода Жильбера, загнали его под обломки от подземных толчков и катастроф).

Оказалось, что Другой создан не для того, чтобы быть уничтоженным, отброшенным, совращенным, но для того, чтобы быть понятым, освобожденным, взлелеянным, признанным. После прав Человека следовало бы учредить права Другого. Впрочем, это уже сделано: существует Всеобщее Право на Различие. Оргия политического и психологического

понимания Другого, его возрождение там, где его уже нет. Там, где был Другой, появился Тот же самый.

Но там, где больше ничего нет, и должен появиться Другой. Мы уже присутствуем не при драме, но при психодраме отличий, как и при психодраме общности, сексуальности, тела и при мелодраме всего этого, разыгрываемой посредством аналитических метадискуссий. Отличие приобрело характер психодрамы, социодрамы, семиодрамы, мелодрамы.

В той психодраме, что связана с контактами, тестами, интерфейсом, мы лишь акробатически симулируем и драматизируем отсутствие Другого. В этой искусственной драматургии отличие исчезло отовсюду, но сам субъект стал мало-помалу индифферентен к собственной субъективности, к собственному отчуждению, совсем как современное политическое существо становится безразличным к собственному мнению. Он становится прозрачным, «спектральным» (Марк Гийом) и в силу этого интерактивным. Потому что в процессе интерактивности субъект не несет в себе чьего либо отражения. И это происходит по мере того, как он становится индифферентным к самому себе, как если бы его живого превратили в ипостась, лишенную своего двойника, тени, отражения. Такой ценой он становится доступным для всевозможных комбинаций и связей.

Интерактивное существо, таким образом, рождается не от новой формы обмена, но от исчезновения социальных связей и отличий. Это тот другой, что появляется после гибели Другого и уже не есть то, что было прежде. Это — результат отрицания Другого.

В действительности интерактивность присуща только медиуму или машине, ставшей невидимой. Механические автоматы еще играют на различии между человеком и машиной и на привлекательности этого различия. Но наши интерактивные автоматы, автоматы имитации остаются равнодушны к этим различиям. Человек и машина здесь становятся изоморфными и индифферентными, ни он ни она не находит своего отражения в другом.

Компьютер не имеет двойника. Вот почему он не способен мыслить. Ибо способность к мышлению всегда приходит к нам от Другого. Поэтому он, компьютер, так результативен. Компьютеры — эти чемпионы по устному счету, эти нелепые калькуляторы — являются аутистами, той разновидностью разума, для которой не существует Другого, и в силу этого они наделены столь странным могуществом. Это сама мощь интегральных схем (способных даже передавать мысли на расстояние). Это — мощь абстракции. Машины действуют так быстро, потому что они отключены от какого-либо Другого. Они соединены системами, подобными огромным пуповинам между разумом и его близнецом. Но в этом гомеостазе Того же самого отличия были ликвидированы машиной.

Существуют ли еще отличия, при том, что их вымарывают изо всей этой психодраматической сверхструктуры?

Существует ли физика Другого, или же только метафизика? Есть ли двойственная форма Другого, или только диалектическая? Проявляется ли он в виде судьбы, или же только в виде психологического и социального партнера, несущего с собой наслаждение?

Сегодня все говорит между собой в терминах различий. Но отличие не есть различие. Можно даже предположить, что именно различия убивают отличие. Когда язык оценивают в системе различий, когда смысл [языкового явления] сводится лишь к тому, чтобы демонстрировать дифференциальный эффект, — в этом случае убивается радикальное отличие языка, кладется конец той двойственности, которая лежит в самой его сердцевине, двойственности знака и понятия, им обозначаемого, двойственности языка и его носителя; из языка устраняется все, что не подлежит устранению: в артикуляции, в смысле, в посредничестве. Устраняется все то, благодаря чему язык по своей сути есть Другой для субъекта, то, благодаря чему в языке существует игра слов, обольстительность материального воплощения и случайностей, символический смысл жизни и смерти, а не только ничтожная игра различий, являющаяся предметом изучения структурного анализа.

Но тогда какой смысл говорить, что женщина — это иное, нежели мужчина, что сумасшедший — иное, нежели нормальный человек, что дикарь не есть человек цивилизованный? Можно было бы до бесконечности задаваться вопросом, кто чей антипод.

Является ли хозяин иным, нежели раб? Да, если говорить в терминах классов и производственных отношений. Но это противопоставление носит ограниченный характер. В действительности все происходит совсем не так. Причастность людей и вещей не есть причастность, связанная со структурными различиями. Символический порядок содержит в себе сложные двойственные формы, которые не обнаруживают различий между мной и кем-то другим. Пария не есть нечто иное, чем брамин — судьба одного есть нечто иное, чем судьба другого. Они неотличимы внутри одной и той же шкалы ценностей. Они взаимно связаны в незыблемом порядке, в обратимом цикле, подобном циклу дней и ночей. Представляет ли собой ночь нечто иное, чем день? Но что тогда вынуждает нас говорить, что мужское начало есть нечто иное, чем женское? Без сомнения, в отличие от дня и ночи мужское и женское начала не являются обратимыми моментами, которые следуют друг за другом и сменяют друг друга в нескончаемом очаровании. Следовательно, один пол никогда не является иным в отношении другого; такое возможно разве что в теории дифференциальной сексуальности, которая в основе своей утопична. Поскольку различие есть не что иное, как утопия с присущей ей мечтой разорвать границы [существующего порядка вещей] с тем, чтобы в дальнейшем восстановить эти границы (то же можно сказать и о различении Добра и Зла: разделение этих понятий является мечтой, а стремление их соединить — совершенно фантастической утопией). В этой единственно присущей нашей культуре перспективе различия можно говорить о Другом в области секса. Настоящая сексуальность «экзотична» (в том смысле, который придавал этому слову Сегален): она заключается в полной несопоставимости обоих полов; в противном случае обольщение просто не могло бы существовать, и в отношениях между полами царило бы одно лишь отчуждение.

Различия — это регулируемый обмен. Но что же разлаживает, нарушает этот обмен? Что не подлежит обсуждению? Что не вписывается в контракт, в структурную игру различий? Что делает обмен невозможным? Везде, где обмен невозможен, наступает террор. Любое радикальное отличие является эпицентром террора. Террора, который оно самим фактом своего существования порождает в обычном мире. Террора, который мир обрушивает на него в своем стремлении его уничтожить.

В течение последних столетий все формы сильного отличия волей-неволей оказались внесены в список различий, который содержит одновременно включение и исключение, признание и дискриминацию. Детство, безумие, смерть, варварские общины — всеобщее согласие интегрировало, взяло на себя, поглотило все это. Безумие, как только его особый статус оказался подорванным, попадает в более тонкие психологические сети. Умершие, признанные однажды таковыми, оказываются за оградой кладбищ и покоятся поодаль вплоть до того, что лицо смерти стирается вовсе. За индейцами было признано право на существование лишь в пределах резерваций. Таковы перипетии логики различия.

Расизма не существует, пока другой остается Другим, чуждым. Расизм начинается, когда другой приобретает свойства различимого, то есть, иначе говоря, становится опасно близким. Именно тогда и начинаются поползновения удержать его на расстоянии.

"Можно подумать", — говорит Сегален, "что фундаментальные различия никогда не позволят создать истинное полотно без швов и заплат и что нарастающее сближение, падение барьеров, больший пространственный ракурс должны сами каким-то образом компенсироваться созданием новых перегородок и непредусмотренных лакун".

Расизм и есть одна из этих "новых перегородок". Снятие эмоционального напряжения в психодраме различий, фантазм и навязчивая идея стать Другим. Психодрама вечного поглощения и отторжения Другого. Изгнать Другого, материализуя различия любой ценой, — настолько верным является то, что это поглощение различий невыносимо… Расизм не имеет оснований для своих биологических притязаний — но если подойти к этому явлению объективно, то можно сказать, что расизм обнаруживает идеологический соблазн, который живет в сердце каждой структурной системы: это соблазн фетишизации различия. В дифференцированных системах не существует равновесия — различие колеблется от

абсолютного максимума до нуля. Умеренное управление отличиями и различиями — утопия.

Коль скоро логика различий является в какой-то мере универсальной имитацией, достигающей кульминации в абсурдном "праве на различие", эта имитация постепенно принимает форму безнадежной галлюцинации различия, коей и является расизм. В то время, как различия и культ различий быстро распространяются, еще быстрее растет другая необычная, аномальная сила, непостижимая для критического разума: "непредусмотренные лакуны", о которых говорит Сегален. О новых различиях речь больше не идет; для того, чтобы предотвратить полную гомогенизацию мира, появляется чудовищная метафора Другого, компиляция всех отличий, приговоренных нашей системой к уничтожению, — смертоносная вирусная Отчужденность.

За неимением биологически соотносимого, расизм находит себе пищу в мельчайших различиях в расстановке знаков, действие которой, становясь вирусным и автоматическим, непрерывно продолжается в торжестве общепризнанной семиотики; этот расизм нельзя победить никаким гуманизмом различия, ибо он воплощает самый вирус различия.

Проблема чудовищных форм, которые приобрело здесь отличие, никогда не будет разрешена наставлениями по поводу внутреннего приятия Другого и усвоения различий, поскольку формы эти явились на свет именно по причине этой навязчивой дифференциации, этой фанатичной диалектики "меня и того, что отлично от меня".

В этом и состоит слабость «диалектических» мыслей об отличии, уповающих на разумное использование различия. Такого применения различию найти невозможно, и расизм в своей вирусной, имманентной, современной, окончательной форме с очевидностью доказывает это.

Вот почему можно сказать, что критика расизма по существу завершена, подобно тому, как говорил Маркс о завершении по существу критики религии. С тех пор, как метафизическая гипотеза религии доказана, религия обречена на исчезновение в условиях более прогрессивного способа производства. С тех пор, как доказана несостоятельность биологической теории рас, расизм обречен на исчезновение в условиях, более приближенных ко всеобщему смешению различий. Разве что в отношении религии Маркс не предусмотрел того, что, перестав существовать в качестве метафорической и трансцендентальной формы, она приобретет имманентность и предстанет в виде многочисленных идеологических и практических вариаций, в виде религиозного Возрождения, черпающего силы в самом прогрессе того порядка, который был призван превратить его в одно лишь воспоминание. Это то, что мы сегодня наблюдаем повсюду. То же происходит и с расизмом; он становится вирусным и повседневным. «Научная» и рациональная критика всего этого есть критика формальная, она разрушает биологическую аргументацию, но при этом оказывается в ловушке, будучи нацеленной лишь на биологическую иллюзию, а не на саму биологию как иллюзию. Точно также формальный характер носит и политическая и идеологическая критика расизма, поскольку она обрушивается только на расистскую одержимость различия, но оставляет в стороне само различие как иллюзию. Критика, таким образом, сама становится критической иллюзией, которая ни на что не нацелена, и, в конечном итоге, выясняется, что расизм переживает рациональную критику так же легко, как религия — критику материалистическую. Вот почему все виды критики по существу завершены.

Различию нет разумного применения. Это обнаруживает не только расизм, но и все антирасистские и гуманистические усилия, направленные на поддержание и защиту различия. Гуманитарный универсум, универсум различия повсюду оказывается в полном тупике, который является тупиком самого понятия универсума. В качестве свежей иллюстрации можно привести эпизод во Франции с паранджами молодых женщин из стран Магриба, в котором проявилось лицемерие всех рациональных аргументации, отвергающих тот простой факт, что решения не существует ни в какой этической или политической теории различия. Потому что само различие есть иллюзия обратимая. Мы разнесли его по всем уголкам земного шара, и вот оно вернулось к нам в неузнаваемом обличьи — исламистском, интеграционистском, расистском; оно вернулось к нам в качестве иррационального,

неумолимого отличия. И поделом.

Наше непонимание подобных ситуаций просто фантастично. Свидетельство тому — эпизод с организацией "Врачи без границ", когда было замечено, что афганцы предпочитают подпольно перепродавать поставляемые им медикаменты, нежели пользоваться ими. Ответственные за акцию учинили мучительный экзамен своей совести. Надо ли прекратить поставку лекарств или во имя идеи различий культур терпеть эту специфическую и безнравственную реакцию? При зрелом размышлении выбрали принесение западной системы ценностей на алтарь различия и решили продолжать снабжать черный рынок медикаментами. Гуманизм обязывает.

Другая красочная иллюстрация гуманитарной конфузии: некто г-н X был направлен в Судан с целью изучения "потребностей народов Судана в сфере коммуникаций". Умеют ли суданцы общаться? Факт, что они голодают и что их надо обучить возделывать сорго. Направлять к ним наставников-агрономов очень дорого, а потому их следует обучить всему, что нужно, с помощью видеокассет. Надо же в конце концов, чтобы они вступили в эру коммуникаций. Пусть сорго приходит к ним на аудио- и видеокассетах. Ведь если их не подключить к средствам коммуникаций, они просто-напросто умрут с голода. Сказано — сделано: города и деревни были снабжены видеомагнитофонами. Увы, местная мафия быстро овладела сетью видеосалонов, и вместо учебных кассет открывается прибыльный рынок кассет порнографических. И это нравится населению куда больше, нежели возделывание культуры сорго. Порно ли, сорго ли, видео ли — результат один и тот же. Еще одна притча, достойная быть вписанной в розово-черную книгу коммуникации.

Таков абсурд нашего альтруистического «понимания», сопоставимый лишь с глубоким презрением, таящимся в нем: под словами "Мы уважаем ваше различие" подразумевается "Вы слаборазвиты, и это все, что вам остается, не вздумайте пытаться избавиться от этого" (символы фольклора и атрибуты нищеты — подходящие операторы различия). Нет ничего более презрительного и более достойного презрения. Это наиболее радикальная форма непонимания. Просто она, по словам Сигалена, относится не к разряду "вечной непостижимости", но к разряду вечной глупости, глупости, претенциозно упорствующей в своем существовании и питающейся различием Другого.

Другие культуры никогда не стремились ни к универсальности, ни к различию (по крайней мере до тех пор, пока им не начали насаждать их в виде опиума культурной войны). Они живы своим своеобразием, своей исключительностью, непреодолимостью своих ритуалов и своих ценностей. Они не тешат себя убийственной иллюзией — связать все воедино, иллюзией, которая вполне могла бы их погубить.

Тот, кто является властелином универсальных символов отличия и различия, тот и властелин мира. Замышляющий различие является антропологически высшим существом (что естественно, ибо он сам и придумал антропологию). У него все права, ибо он их сам изобретает. А тот, кто не замышляет различие, кто не играет в игру различия, должен быть уничтожен. Именно это и происходит с американскими индейцами, когда на их землю высаживаются испанцы. Индейцы ничего не понимали в различии, они существовали в радикальном отличии (испанцы для них не различны, они боги, и этим все сказано). Именно это абсолютное преступление — непонимание различия — и было причиной того неистовства, с которым испанцы их истребляли, и которое невозможно объяснить никак иначе — ни экономическими, ни религиозными, ни какими-либо еще мотивациями. Будучи принужденными приспосабливаться к другой, уже не радикальной, форме отличия, когда отличие становится предметом сделки под тенью универсального понятия, индейцы предпочли коллективно принести себя в жертву. Вот почему они идут на добровольную смерть с такой страстью, дополняющей безудержное стремление испанцев к истреблению. Столь странное участие индейцев в собственном уничтожении — единственный способ сохранить тайну своего отличия.

И Кортес, и иезуиты, и миссионеры, а позднее и антропологи (и даже сам Тодоров в "Завоевании Америки") становятся на сторону отличия, являющегося предметом сделки.

(Исключение составляет Лас Казес, который к концу жизни предлагал просто прекратить завоевание и предоставить их собственной судьбе.) Все авторитетные умы продолжают верить в разумное использование различия. Другой в своем радикальном проявлении невыносим, его нельзя уничтожить, но нельзя и принять: таким образом, необходимо проводить в жизнь Другого, способного стать предметом сделки, Другого, который походил бы на различие. И здесь берет свое начало более тонкая форма уничтожения, при которой вступают в игру все гуманистические добродетели современности.

Другая версия истребления — индейцы должны быть уничтожены не потому, что они не христиане, а потому, что они христиане в большей степени, чем сами христиане. Если их жестокость и человеческие жертвоприношения невыносимы, то не по причине жалости или нравственных побуждений, а потому, что эта жестокость свидетельствует о требованиях их богов и о силе их веры. Эта сила заставляет испанцев устыдиться несостоятельности собственных верований; эта сила выставляет в смешном свете западную культуру, которая, прикрываясь религиозным ханжеством, исповедует лишь религию золота и торговли. Своей беспощадной религиозностью индейцы заставляют западный интеллект устыдиться осквернения своих собственных ценностей. Их фанатизм ужасен, он подобен приговору, развеянию мифа о культуре в ее же собственных глазах (то же самое происходит сегодня с исламом). Подобное преступление необъяснимо и только само перед собой способно оправдать уничтожение.

Не очевидно, что Другой существует для всех. Есть ли, скажем, Другой у дикаря, у первобытного человека. Некоторые отношения совершенно асимметричны: один может быть Другим для другого, но при этом этот другой не будет Другим для первого. Я могу быть Другим для него, а он — не быть Другим для меня.

Алакалуфы с Огненной земли были уничтожены, так и не попытавшись ни понять белых людей, ни поговорить, ни поторговать с ними. Они называли себя словом «люди» и знать не знали никаких других. Белые в их глазах даже не несли в себе различия: они были просто непонятны. Ни богатство белых, ни их ошеломляющая техника не производят никакого впечатления на аборигенов: за три века общения они не восприняли для себя ничего из этой техники. Они продолжают грести в своих челноках. Белые казнят, убивают их, но они принимают смерть так, как если бы не жили вовсе. Они вымирают, ни на йоту не поступившись своим отличием. Им так и не суждено было ассимилироваться, ни даже достичь стадии различия. Они вымирают, не оказав белым даже чести признания за ними различия. Они неизлечимы. Для белых же, напротив, они представляют собой существа «другие», наделенные различием, но человеческие по крайней мере настолько, чтобы насаждать среди них Евангелие, эксплуатировать их, а затем и уничтожать.

Во времена своей независимости алакалуфы называли себя «люди». Потом белые назвали их тем же именем, которым они стали называть белых: «чужие». И они сами начинают называть себя на своем языке словом «чужие». Наконец, в последнее время они называют себя алакалуфами, тем единственным словом, которое они еще произносят в присутствии белых и которое обозначает «дай-дай» — теперь они именуют себя лишь словом, несущим в себе информацию об их нищете. Сначала они были самими собой, потом стали чужими самим себе, потом утратили самих себя: трилогия имен, которыми этот народ последовательно называл себя, отражает историю его истребления. Разумеется, убийство — деяние тех, кто обладает универсальной способностью наблюдать различия и манипулировать ими в своих собственных целях. Алакалуфы с их самобытностью, не позволявшей даже представить себе Другого, неизбежно должны были потерпеть крушение. Но нет уверенности, что уничтожение этой самобытности по истечении длительного времени не станет фатальным и для белых; это будет реванш, одержанный радикальной необычностью, изгнанной прочь колониальным гуманизмом; став вирусом в крови белых людей, эта необычность и их обречет на исчезновение.

Все подчиняется системе, и в то же время все ускользает от нее. Народы мира, которые делают вид, что ведут западный образ жизни, никогда до конца не принимают и втайне

презирают его. Они остаются эксцентричными по отношению к этой системе ценностей. Их манера приобщения, их стремление зачастую быть более фанатичными поклонниками Запада, чем сами граждане западных стран, их подделки, изготовляемые из останков века Просвещения и прогресса обладают всеми чертами пародии, обезьянничанья. Когда они ведут переговоры с Западом, когда вступают с ним в сделку, они продолжают считать основополагающими свои собственные ритуалы. Может быть, однажды они исчезнут, подобно алакалуфам, так и не принявшим белых всерьез (в то время как мы-то относимся к ним весьма серьезно, будь то в целях ассимиляции или уничтожения; они даже становятся решающими негативными моментами в нашей системе ценностей).

Может быть, однажды исчезнут и сами белые, так и не поняв, что их белизна есть лишь результат шокирующего сближения и смешения всех рас и всех культур, подобно тому, как белый цвет представляет собой амальгаму всех цветов. Но цвета можно сравнивать не иначе, как используя универсальную шкалу частот. Сравнение различных культур также возможно, только если прибегнуть к структурной шкале различий. Но эта игра асимметрична. Ведь только для западной культуры все прочие несут в себе различие. Что же до самих других культур, то белые для них не являют никаких различий, они просто-напросто не существуют, они — призраки из другого мира. Представители других культур меняют вероисповедание, в душе смеясь над гегемонией Запада, подобно тому, как догоны преподносят психоаналитикам подарки в виде снов, которые они сочиняют исключительно ради того, чтобы доставить удовольствие последним. Другие народы не уважают нашу культуру и не испытывают к ней ничего, кроме снисхождения. Если мы завоевали себе право порабощать и эксплуатировать их, то они, в свою очередь, позволяют себе роскошь нас мистифицировать.

Самое странное впечатление, которое оставляют произведения Брюса Четвина об аборигенах ("Тропы напевов", "Время грез"), — это то, что они совершенно озадачивают нас во всем, что касается реальности путей, поэтических и музыкальных маршрутов, песен, грез. Все эти рассказы озарены каким-то светом мистификации, оптической иллюзии мифа. Все происходит так, как если бы аборигены навязывали нам и нечто самое сокровенное и подлинное (миф в его наиболее загадочной, астральной форме), и нечто сверхсовременное и лживое: мы испытываем какую-то нерешительность в отношении рассказа в целом и глубокие сомнения по поводу его происхождения. Создается впечатление, что аборигены делают вид, что верят во все эти небылицы для того, чтобы мы смогли поверить в них. С каким-то злобным удовольствием они играют в секреты и недомолвки; они приоткрывают некоторые знаки, но правила игры — никогда; кажется, они импровизируют, угождая нашему воображению и не делая при этом никаких усилий, чтобы убедить нас в правдивости того, что они говорят. Такова их манера хранить тайну и насмехаться над нами, ибо мы, по сути, единственные, кто хочет верить в их сказки.

Их секрет не в том, о чем они умалчивают; он целиком скрыт в нити рассказа, лежит на его поверхности, недоступной нашему пониманию. Это ироническая форма мифологии без внутреннего содержания. И в этом действе они оказываются высшими, а мы — примитивными существами. Белых людей так и не прекращают мистифицировать.

Эта имитация ценностей для белых универсальна и возникает, как только мы пересекаем границы нашей культуры. Но по сути разве мы сами, не будучи ни алакалуфами, ни аборигенами, ни догонами, ни арабами, не смеемся над собственными ценностями? Разве мы не пользуемся ими с таким же позерством, с той же скрытой беззастенчивостью, когда сами в глубине души чувствуем, что нас мало убеждают демонстрации силы, парады технологий и идеологий? Но понадобится еще немало времени, прежде чем перед нами во всем своем сиянии предстанет утопическая абстракция универсального видения различий, в то время как другие культуры уже ответили на это тотальным равнодушием.

Не стоит вопрос о том, чтобы восстановить туземцев в их законных правах или предоставить им место в соглашении по правам человека, — их реванш в другом: в возможности дестабилизировать западную империю. Это их фантомное, призрачное, вирусное присутствие в соединении двух нервных клеток нашего собственного мозга, в

орбитальных полетах наших собственных ракет порождает то, имя чему — Отчужденность. Именно так белые подцепили вирус первопричины, вирус «индейский», «аборигенский», «патагонский». Уничтожение проникает в наши вены путем неумолимого переливания, путем инфильтрации. Реванш за колонизацию состоит не в том, чтобы индейцы или иные аборигены вновь завладели своими территориями, своими привилегиями, своей автономией, — это была бы наша победа, но в том воздействии, благодаря которому белые оказались мистически охвачены идейным разбродом собственной культуры, унаследованной от предков медлительностью, поддаваясь постепенно засилью "времени грез". Мировой феномен перемещения в обратном порядке. Можно заметить, что ничего из считавшегося завершенным в неумолимом марше к универсальному прогрессу, абсолютно ничего из этого не кануло в Лету, все появляется вновь, причем отнюдь не в виде архаических или ностальгических следов прошлого (вопреки нашим чрезмерным усилиям превратить все это в достояние музеев). Это новое пришествие сопровождается вполне современным пылом и вирулентностью, оно проникает в самую сердцевину наших сверхизощренных и сверхуязвимых систем, которые убирают паруса без всякого сопротивления.

НЕПРИМИРИМОСТЬ

Принципу связи и примирения противостоит принцип разрыва связей и непримиримости. Из этих двух принципов торжествует всегда принцип непримиримости, ибо по своей природе он постоянно обрекает на провал принцип примирения.

Та же проблема встает и на путях Добра и Зла. Добро заключается в диалектике Добра и Зла. Зло же состоит в отрицании этой диалектики, в радикальном разобщении Добра и Зла, и вследствие этого — в автономии принципа Зла. В то время, как Добро предполагает диалектическую связь со Злом, Зло базируется на самом себе, на полной несовместимости с Добром. Зло, таким образом, оказывается хозяином положения, и принцип Зла, господство вечного антагонизма, одерживает триумф.

Когда мы имеем дело с радикальным Отличием между существами, полами, культурами, перед нами тот же антагонизм, что и антагонизм Зла, та же логика абсолютного непонимания, то же предвзятое мнение в отношении чуждого. А можно ли принять сторону того, что чуждо? Это невозможно в силу самой теоремы о дистанцировании, о все большем удалении тел и умов друг от друга, теоремы, расчищающей место для гипотезы, подобной той, что существует в отношении небесных тел. Это гипотеза вечной изоляции, которая влечет за собой гипотезу неразрешимого проклятия, гипотеза прозрачности Зла, призванная противостоять универсальной утопии об общности. Публично эта гипотеза всегда оспаривается. Но оспаривается только внешне, потому что чем больше вещи стремятся ориентироваться на понимание и универсальную гомогенизацию, тем более насущной становится тема вечной непримиримости, и чем меньше мы осмеливаемся анализировать ее, тем сильнее ощущаем ее непреодолимое присутствие.

Это присутствие становится у нас на пути как грубый, непреодолимый, сверхощутимый, сверхъестественный факт, являющийся, подобно фатальной конфигурации, результатом невозможности диалектической мысли о различии. Нечто похожее на силу всемирного отталкивания, противоположную канонической силе всемирного тяготения.

И эта непримиримая сила присутствует во всех культурах, а сегодня — еще и в отношениях между странами Третьего мира и Западом — от Японии до Западной Европы, от Европы до Америки и даже внутри каждой культуры, в определенной специфике, которая в конце концов одерживает верх. Ни Марокко, ни Япония, ни ислам никогда не станут западными. Европа никогда не заполнит пропасть современности, отделяющую ее от Америки. Космополитический эволюционизм — иллюзия, и, как и подобает иллюзии, она лопается повсюду.

Нет решения проблемы того, что Чуждо. Чуждое вечно и радикально. Не стоит даже высказывать пожелания, чтобы оно было таковым: таковым оно является.

В этом — всеобъемлющая Экзотика. В этом заключается правило мира. Но в то же время это — не закон. Закон являет собой как раз универсальный принцип понимания, отлаженную и упорядоченную игру различий, рациональность нравственную, политическую и экономическую. Здесь же мы имеем дело с правилом, и, как всякое правило, оно таит в себе произвольное предназначение. Возьмем, к примеру, языки, которые совершенно нетерпимы друг к другу. Языки — явление предопределенное: каждый — своим правилом, своим самоуправлением, своей беспощадной логикой. Каждый подчиняется закону коммуникации и обмена, но одновременно — некоей внутренней нерушимой связи и, как языки, они всегда были и навсегда останутся непереводимыми с одного на другой. И звучат они так «красиво» потому, что остаются чужими друг для друга.

Закон никогда не может быть неотвратимым: он являет собой понятие, базирующееся на консенсусе. Правило же неотвратимо, оно — не понятие, а форма, которой подчиняется порядок игры. Так, например, происходит обольщение. Эрос — это любовь, сила притяжения, слияния, связи. Обольщение же — гораздо более радикальное понятие разобщенности, отвлечения, иллюзорности, совращения, искажения сути и смысла, искажения идентичности субъектов и их самих.

Вопреки общему мнению, рост энтропии идет не со стороны всеобщей разобщенности, но со стороны связи и слияния, понимания и любви, со стороны разумного использования различий. Обольщение и экзотика — это избыток Другого, избыток отличия, это помутнение разума тех, кто чужды друг другу по самой своей природе, это то, что неумолимо, то, что являет собой подлинный источник энергии.

В этом мире предопределения Другого все идет извне: счастливые или несчастливые события, болезни, сами мысли. Все команды исходят от сущности нечеловеческой, от богов, животных, духов, магии. Это и есть универсум фатального, которое противостоит психологическому. Если, как полагает Кристева, мы становимся чуждыми самим себе, заключая внутри себя Другого, между тем, как этот процесс принимает форму бессознательного, то верно и то, что в мире фатального бессознательное не существует. Нет универсальной формы бессознательного, как на том настаивает психоанализ, и в этом смысле единственной альтернативой бессознательному подавлению остается фатальное; степень виновности всего сущего должна рассматриваться нечеловеческой инстанцией, существующей поодаль от человечества и избавляющей нас от этой функции.

Проблема Другого в этом фатальном пространстве — это проблема гостеприимства.

Здесь значимость двойственная, ритуальная, драматическая. Кого принимать, как принимать, по каким правилам? Так, наша жизнь состоит в том, чтобы принимать гостей и самим ходить в гости (а не в том, чтобы знакомиться и узнавать друг друга). Этой символической значимости недостает нам в общении — мы больше не передаем и не принимаем сообщения, мы лишь расшифровываем их. Сообщения просачиваются, но люди не обмениваются ими друг с другом. Просачивается лишь абстрактная сторона смысла, производя короткое замыкание в цепи двойственной значимости.

Другой — это гость. Не тот, который равноправен с нами и несет в себе различия, но гость чуждый, пришедший извне. И он, с присущей ему чужеродностью, должен быть изгнан. Но начиная с того момента, как он переступает порог моего дома, согласно правилам, его жизнь становится более драгоценной, чем моя. Во всей символической вселенной нет такого отличия, которое могло бы оказаться в ситуации, несхожей с этой. Ни животные, ни боги, ни мертвые не есть Другой. Их поглощает один и тот же цикл. Вне всего этого вы просто не существуете.

Все другие культуры чрезвычайно гостеприимны, они обладают фантастической возможностью абсорбции. В то время, как мы колеблемся между жертвой и тенью Другого, между чистым хищничеством и идеальной признательностью, другие культуры сохраняют возможность заново вернуть в оборот то, что приходит к ним извне, в том числе и из нашей западной культуры, пользуясь при этом своими собственными правилами игры. Они совершают это мгновенно или в течение достаточно длительного времени без всякой угрозы

для собственного свода правил или фундамента своей культуры. Именно потому, что они не живут иллюзией универсального закона, они не так неустойчивы, как мы, которые постоянно озабочены внедрением закона и тем, чтобы распоряжаться собой и своими действиями, вкусами и наслаждениями. Варварские культуры не утруждают себя подобной претенциозностью. Быть самим собой лишено всякого смысла, ибо все исходит от Другого. Ничто не является самим собой и не имеет основания быть таковым.

В этом отношении Япония стоит Бразилии или испытавших на себе западное влияние дикарей из "Безумных мастеров" Жана Руша: будучи каннибалами, они оказывают губительное гостеприимство ценностям, которые не были и никогда не будут их собственными.

Могущество Японии — это форма гостеприимства, оказываемая технике и всем иным разновидностям современного стиля жизни (как прежде — религии или письменности), но это гостеприимство не сопровождается ни внутренним психологическим приятием, ни глубиной и сохраняет дистанцию кода. Это гостеприимство в форме вызова, а не примирения или признания. Непроницаемость по-прежнему остается полной. Выражаясь буквально, это — операция совращения, состоящая в том, чтобы отвратить какую-либо вещь (знак, техническое средство, предмет) от ее сути и заставить ее функционировать в другом ключе, или же в том, чтобы перевести ее из области закона (т. е. от понятий капитала, стоимости, экономики, смысла) в область правила (т. е. к понятиям игры, ритуала, церемониала, цикла, повторения).

Японский динамизм не подчиняется ни системе ценностей, ни конечным целям западного мира. Он осуществляется с соблюдением подобающей дистанции и операционной чистоты, которая не считается с идеологиями и верованиями, подчинившими своему ритму историю капитала и техники на Западе Японцы — великие актеры в области технологии, они, сами того не зная, подтверждают парадокс участника технологического процесса, как Дидро подтверждал парадокс комедианта: для достижения наибольшего эффекта необходимо равнодушие и соблюдение правил игры; надо, чтобы ваше подлинное умение пришло к вам извне, из технического каталога или устройства (японские промышленники думают, что в каждом техническом устройстве спрятан бог, придающий ему автономию и истинную гениальность). Надо играть с техникой, как со знаками при полном исчезновении самого предмета, полном эллипсисе смысла, то есть при полной аффектации.

Символические ритуалы способны абсорбировать все, что угодно, в том числе тело капитализма, лишенное органов. Нет экстерриториализации, нет хайдеггеровских спекуляций по поводу отношений с техникой в процессе ее зарождения и существования, нет внутреннего психологического усвоения происходящего. Это игра, которая ведется с Западом на его собственном поле, вызов неизмеримо более эффективный, поскольку его стратегия — это стратегия системы ценностей, позволяющей себе роскошь техники, стратегия технической практики как чисто искусственного изобретения, не имеющего никакого отношения ни к прогрессу, ни к иным рациональным формам. Эта чистая стратегия, эти кропотливые и лишенные эмоций действия, столь отличные от тривиального современного западного стиля, загадочны и непонятны для нас. В этом смысле это одна из форм радикальной экзотики, о которой говорит Сегален, тем более загадочная, что «затрагивает» сверхразвитое общество, хранящее в себе все ритуальное могущество первобытных общин.

Эта форма являет собой каннибализм: она вовлекает в себя, абсорбирует, подражает, пожирает. И афро-бразильская культура также может служить прекрасным примером каннибализма, пожирания современной культуры белых, очередной формы совращения. Каннибализм всегда является высшей формой связи с Другим; к разновидностям такой связи относится и любовь как форма радикального гостеприимства.

Не то, чтобы расовый вопрос в Бразилии был разрешен в большей степени, чем где-либо еще, но идеологический расизм пребывает здесь в довольно затруднительном положении из-за смешения рас и увеличения числа метисов. Расовая дискриминация тонет в

пересечениях расовых линий, скрещивающихся друг с другом подобно линиям руки. Эта форма дисквалификации расизма ввиду рассеяния самого его объекта гораздо тоньше и эффективнее, нежели идеологическая борьба, двусмысленность которой всякий раз способствует воскрешению этого объекта. Расизм не кончится никогда, пока его будут пытаться одолеть фронтально, путем рационального отрицания. Он не может быть побежден ничем, кроме игры рас и их ироническим дифференциальным механизмом. Отнюдь не легализацией различий под знаком права, но игрой совращения и пожирания — игрой порой жестокой. Такова, например, история епископа из Пернамбука или та, что рассказана в песенке "Ах как он был хорош, мой славный француз!": героя песенки находят очень красивым, приносят в жертву и съедают. Ему предоставляют нечто большее, чем право на существование, — престижную смерть. Если расизм — освобождение от напряжения, вызванного подавляемыми эмоциями, путем совращения Другого (при этом затрагивается нечто большее, чем его различительные свойства), то проблема расизма может быть решена только путем удвоенной игры совращения.

Сколько других культур находится в ситуации куда более своеобразной, чем наша! Мы заранее полагаем, что все можно разгадать; мы владеем необычайными методами анализа, но они не способны анализировать ситуацию. Мы живем теоретически, совершенно отстраненные от наших собственных событий. Отсюда наша глубокая меланхолия. Другим остается свет судьбы, свет чего-то, что они переживают, но что для них, живых или мертвых, навсегда остается непостижимым. Мы же уничтожили все, что приходит извне. Другие культуры, кажущиеся нам странными, живут в преклонении (перед звездами, перед судьбой); а мы живем в подавленности и растерянности (из-за отсутствия судьбы). Ничто не может исходить ниоткуда, кроме как от нас самих. И это в каком-то смысле абсолютное несчастье.

РАДИКАЛЬНАЯ ЭКЗОТИКА

В свете всего, что делалось, чтобы уничтожить Другого, перед нами воочию встает его неразрушимость и тем самым неистребимая фатальность Отличия.

Сила идеи, могущество фактов.

Радикальное Отличие противостоит всему: завоеванию, разуму, истреблению, вирусу различия, психодраме отчуждения. Другой всегда мертв, но в то же время он не подвластен разрушению.

Такова Большая Игра.

Крайняя непостижимость живых существ, как и народов.

"Непостижимость рас есть не что иное, как распространение на них непостижимости индивидуумов" (Сегален).

Экзотика выживает только за счет невозможности встречи, слияния, обмена различиями. К счастью, все это только иллюзия — иллюзия субъективности.

Остается лишь чужеродность чужого, ирредентизм предмета.

Никакой психологии — это всегда худшее.

Устранить все психологические, идеологические и моральные формы Другого — значит устранить метафору Другого и Другого как метафору.

Искать «жестокость», непостижимость другого, его неотступное стремление — значит принуждать его к чужеродности, насиловать его в этой чужеродности.

Истощение метафоры — это высшая форма насилия над ней.

Радикальная антиэкология, антиуниверсализм, антидифференциализм.

Радикальная экзотика против сутенерства различия.

Сегален сказал по поводу открытия мира и других культур: "Как только Земля оказалась ограниченной сферой, завершенным пространством, всемогущество средств коммуникации привело к тому, что не осталось ничего, кроме фатальности кругового туризма, который истощается в абсорбции всех различий, в тривиальнейшей экзотике". Однако по мере того, как становится очевидной энтропийная фатальность нивелирования

всех культур и, тем самым, бессмысленность путешествий, Сегален, тем не менее, воскрешает перспективу Главной Экзотики, Экзотики Радикальной.

"Экзотика есть острое и непосредственное восприятие вечного непонимания".

Одерживает верх не режим различия или неразличимости культур, а их вечная неумолимая чужеродность, чужеродность нравов, лиц, языков.

"Если колорит возрастает в соответствии с различием, разве можно найти что-либо более колоритное, нежели противопоставление непримиримого, шок вечных контрастов?"

Ирредентизм объекта: "Главной экзотикой является экзотика Объекта или Субъекта. Экзотика как фундаментальный закон интенсивности восприятия, экзальтации чувства и тем самым самой жизни…"

"Все люди подчинены закону экзотики…" Но закон ли это? Является ли теория экзотики теорией этической, эстетической? Философия ли она, искусство ли жизни, импрессионистское или теоретическое видение мира? По мнению Сегалена, это — неотвратимая гипотеза и источник наслаждения.

Радикальное отличие одновременно и неуловимо и неустранимо. Неуловимо, как нечто, существующее в самом себе (в этом, вероятно, сходство со сновидением), и неустранимо как правило символической игры, как правило игры в мире. Общая скученность и смешение различий никоим образом не изменяют это правило игры как таковое. Это не есть ни рациональный закон, ни нечто доказуемое: у нас никогда не будет ни метафизических, ни научных доказательств этого принципа чужеродности и непонимания; надо просто поверить в его существование. Самое худшее — это понимание, которое является лишь бесполезным и сентиментальным занятием. Истинное знание — это знание того, что мы никогда не поймем в Другом того, что, существуя в этом Другом, вынуждает его перестать быть самим собой. Более невозможно ни отделить Другого от самого себя, ни отстранить взглядом, ни утвердить в его идентичности или различии. (Никогда не следует задавать другим вопрос об их идентичности: так, например, в Америке никогда не стоит вопрос об американской идентичности — это затронуло бы проблему чужеродности Америки.) Если мы не понимаем дикаря, то это происходит по той же причине, по какой он не понимает самого себя (само слово «дикарь» передает его чужеродность лучше, чем все последующие эвфемизмы).

Правило экзотики, таким образом, состоит в том, чтобы не поддаться на обман понимания или близости, страны или путешествия, живописности или же самого себя. Значимость радикальной Экзотики, впрочем, вовсе не обязательно выражается в путешествии: "Пытаясь добиться потрясения от экзотики, совершенно необязательно прибегать к пережитому эпизоду путешествия… Но эпизод и инсценировка путешествия лучше, чем какая-либо иная уловка, позволяет пережить эту рукопашную схватку, грубую, быструю, безжалостную, при том, что каждый удар оказывается гораздо более явным". Путешествие — это обман, к которому все мы приноровились в наибольшей степени.

Могущество антипода — критическое могущество путешествия. Это самый прекрасный период Другого (Жан де Лери, Монтескье, Сегален).

Это момент вторжения отличия, которое великолепно. XVIII век. Надо поддержать Другого в его чужеродности. Бартес и Япония. Америка. Не пытаться обратить Другого в различие. Таковы принципы «Экзотики» Сегалена. Никаких поползновений снискать истину. Отвращение к тривиальной экзотике. Отвержение стремления к самоуничтожению перед лицом Другого. Таков соблазн, испытанный Изабеллой Эберхардт при поисках формы слияния мистического смешения. Она отвечает на вопрос о том, как можно принять в себя арабскую сущность, отвергая при этом свою собственную чужеродность. Это не могло окончиться для нее ничем, кроме гибели. Именно араб сбрасывает ее в пучину волн, дабы положить конец этому отступничеству. Что же касается Рембо, он никогда не стремился к какому-либо слиянию. Его чужеродность собственной культуре слишком велика, и он не нуждается ни в каком разнообразии мистического характера.

Патагония. Фантазм исчезновения. Исчезновение индейцев, исчезновение целой

культуры и целого ландшафта в неразличимости мрака и льдов. Но в сущности исчезновение имеет место и здесь, в Европе, и тем самым все мы являемся алакалуфами. К чему эти географические отвлеченности? Разгадка в том, что лучше покончить с той раболепной формой исчезновения, которая свойственна нашему обществу, посредством живого перехода к исчезновению явному. Всякий переход к действию представляет собой воображаемое решение. Вот почему слово «Патагония» столь созвучно слову «патафизика», что означает науку о воображаемых решениях. Патагонистика.

Путешествуя, мы стремимся не к открытиям или обмену, а к постепенной экстерриториализации, к тому, чтобы возложить ответственность на само путешествие, т. е. на нечто отсутствующее. В металлических векторах, возвышающихся над меридианами, океанами и полюсами, отсутствие облекается плотью. На смену секретам частной жизни, которые стремятся сохранить, приходит поглощение долготой и широтой. Но в конце концов тело устает от неприкаянности, тогда как разум восторгается этим отсутствием, словно присущим ему свойством.

Может быть, в конечном итоге, мы ищем среди других ту же самую медленную экстерриториализацию, что и в путешествии. Соблазн проникнуть вглубь, оказаться «изгнанным» в желания Другого, в его путешествия подменяет наше собственное желание и наши собственные открытия. Так, взгляды и жесты влюбленных часто находятся на расстоянии такого изгнания, их язык «экспатриируется» в слова, которые боятся обозначать что-либо, их тела становятся похожими на голограмму, таящую нежность взгляда и прикосновения, но лишенную устойчивости, сопротивляемости, и потому ее можно избороздить наугад, во всех направлениях, подобно воздушному пространству. Мы осмотрительно перемещаемся по планете ментальности, состоящей из вращений по замкнутому кругу. И из наших эксцессов и страстей мы выносим те же прозрачные воспоминания, что и из наших путешествий.

В путешествиях все происходит, как в человеческих отношениях. Путешествие подобно метаморфозе и анаморфозу Земли. Женское начало можно рассматривать, как метаморфозу и анаморфоз мужского начала. Перемещение в пространстве — это избавление от вашего пола и от вашей культуры. Именно эта форма, форма изгнания и избавления одерживает сегодня верх над классическим путешествием, совершаемым в поисках открытий. Путешествие космическое, орбитальное и векторное благодаря скорости стало похоже на игру со временем. Путешествие эры Водолея, где царит зыбкость и обратимость времен года и культур. Избежать иллюзии близких отношений.

Путешествие, которое прежде являло собой распространение активности центра на окружность, единым махом меняет свой смысл: оно приобретает своеобразное значение — значение безвозвратности, становясь новым исходным местом действия. Оно приобретает при этом поистине экзотический характер и в будущем способно привести к смещению центра в прошлое первобытных общин. В то же время, тогда как прежде предназначение путешествия было в том, чтобы оправдать (с характерной для туристических иллюзий разновидностью мазохизма) нарастающее однообразие стран и культур, планетарную эрозию умственного развития, сегодня, напротив, путешествие является воплощением радикальной экзотики и несопоставимости всех культур.

В прошлом путешествие было способом оказаться по ту сторону чего-то, уйти в никуда. Ныне это единственная возможность испытать ощущение пребывания где-то. У себя дома, в окружении всевозможной информации, экранов, я не нахожусь нигде, я пребываю одновременно во всем мире, во всеобщей банальности, которая во всех странах одна и та же. Если же я приземлюсь в новом городе и услышу вокруг незнакомый язык, я окажусь именно здесь и нигде больше. Тело обретает свой взгляд. Освобожденное от изображений, оно становится способным к воображению.

Существует ли что-либо более близкое к путешествию, к его анаморфозу, нежели фотография? Разве есть что-либо более сходное с ним по происхождению? Отсюда родство фотографии со всем, что дико и первобытно, с самой что ни на есть радикальной экзотикой

Объекта, экзотикой Другого.

Самые прекрасные фотографии — это фотографии дикарей в их естественной среде обитания. Поскольку дикарь всегда смотрит в лицо смерти, он стоит перед объективом с тем же бесстрашием, что и перед смертью. В нем нет ни притворства, ни безразличия. Он всегда позирует, он всегда противостоит. Его победа состоит в том, чтобы преобразовать техническую операцию в противоборство со смертью. Именно это и делает фотографии столь сильными и напряженными. Когда объектив оказывается не в состоянии уловить эту позу, эту дерзкую непристойность объекта, стоящего перед лицом смерти, когда субъект становится сообщником объектива и фотограф сам становится субъективным, тогда приходит конец великой фотографической игры. Экзотика умирает. В наши дни очень трудно найти субъект или сам объект, который не был бы сообщником объектива.

Для большинства людей единственный секрет состоит в том, что они не знают, как живут. Этот секрет окружает их страхом некоей таинственности, дикости, и фотография схватывает этот страх (если, конечно, это удачная фотография). Уловить в лицах отсвет наивности и рока, подтверждающий, что эти люди не ведают, ни кто они есть, ни как они живут. Этого отсвета беспомощности и изумления так недостает светской, интроспективной расе, обладающей многочисленными ответвлениями, которая в курсе того, что имеет к ней отношение и потому лишена тайны. К представителям этой расы фотография беспощадна.

По-настоящему фотографировать следует лишь то, что претерпело насилие, что было застигнуто врасплох, лишено покровов, разоблачено вопреки собственной воле, то, что никогда не должно было быть изображено, ибо лишено своего изображения и осознания самого себя. Дикарь или же то дикое, что есть в нас, не обладает отражением. Он дико чужд самому себе. Наиболее соблазнительные из женщин те, которые в наибольшей степени чужды самим себе (Мерилин). Хорошая фотография ничего не изображает. Она лишь схватывает эту нетипичность, это отличие того, что чуждо самому себе (того, что не испытывает ни влечения к себе, ни стремления к осознанию собственной сути), — радикальную экзотику объекта.

Предметы, как и примитивные существа, обладают значительным преимуществом перед нами в том, что касается фотогеничности: они полностью избавлены от психологии и самоанализа и таким образом сохраняют перед объективом всю свою обольстительность.

Фотография дает отчет о том, каким является мир в наше отсутствие. Объектив исследует это отсутствие. И даже в лицах и телах, отягощенных эмоциями и патетикой, фотография стремится обнаружить это отсутствие. Таким образом, лучше всего фотографировать существа, для которых Другого не существует или уже не существует (это примитивные или отверженные люди, неодушевленные предметы). Лишь нечеловеческое существо обладает фотогеничностью. Такова цена взаимного изумления — цена причастности нас к миру и мира к нам.

Фотография — это наш способ изгонять злых духов. В первобытном обществе были маски, в буржуазном — зеркала, у нас же существуют изображения.

Мы полагаем, что ускоряем развитие мира с помощью техники, тогда как техника — это то, посредством чего мир заставляет нас признать себя, и эффект неожиданности такого поворота огромен.

Вы считаете, что фотографируете ту или иную сцену ради собственного удовольствия. На самом же деле это она хочет быть сфотографированной, а вы лишь статист в ее постановке. Субъект — это всего лишь фактор иронического явления вещей. Изображение прекрасно играет роль медиума в этой гигантской рекламе, которую создает себе мир, которую создают для себя предметы, принуждая наше воображение к исчезновению, а наши чувства — к экстравертности и разбивая тем самым зеркало, которое мы им протягиваем (впрочем, лицемерно), чтобы уловить их.

Сегодня можно назвать чудом то, что загадочные явления, низводившиеся в течение столь длительного времени до добровольного рабского положения, в своей суверенности оборачиваются к нам и против нас посредством тех самых технических средств, к которым

мы некогда прибегли для их изгнания. Сегодня они являются к нам из самой среды своего обитания, из самой сердцевины своей банальности и объектальности; они вторгаются со всех сторон, радостно размножаясь сами по себе (радость, которую мы испытываем при фотографировании, — это объективное ликование; тот, кто никогда не испытывал объективного восторга перед изображением утром, в городе или в пустыне, тот никогда не поймет патафизической изысканности мира.

Если какая-то вещь хочет быть сфотографированной, это означает, что она не желает раскрывать свой смысл, не желает отражаться. Это означает, что она хочет быть схваченной и плененной непосредственно тут же, на месте, будучи освещенной во всех деталях, во всех своих изломах. Мы чувствуем, что вещь хочет быть сфотографированной, хочет стать изображением, но вовсе не для того, чтобы продлиться, а, наоборот, чтобы с большей вероятностью обрести исчезновение. И субъект способен стать хорошим фотографическим медиумом, лишь вступив в эту игру, лишь изгнав свой собственный взгляд и свое собственное эстетическое суждение, лишь воспользовавшись своим отсутствием.

Нужно, чтобы изображение обрело это свойство, свойство пространства, из которого удалился субъект. Сам заговор деталей, предмета, его линий и света, означающий приостановку существования субъекта, а заодно и всего мира, и составляет момент напряженного ожидания перед фотографированием. Посредством изображения мир навязывает свою прерывистость и раздробленность, разбухание и искусственно созданную сиюминутность. В этом смысле фотографическое изображение наиболее безукоризненно, поскольку не имитирует ни время, ни движение, а довольствуется строжайшим ирреализмом. Все другие формы изображения (кино и т. д.), далекие от таких достижений, возможно, являются лишь смягченными формами этого разрыва чистого изображения с реальностью. Интенсивность изображения зависит от его прерывистости и максимального уровня абстрагированности, то есть от намерения отрицать реальность. Создание изображения состоит в том, чтобы последовательно лишить объект всех его измерений, лишить веса, рельефных очертаний, запаха, глубины, протяженности во времени, непрерывности и, разумеется, смысла. Именно ценой дезинкарнации, ценой экзотики получает изображение максимум очарования и интенсивности, становясь медиумом чистой объектальности, обретая прозрачность более изощренных и обольстительных форм. Добавлять один за другим все эти параметры — рельеф, движение, эмоции, мысли, напыщенность, смысл, желания — с тем, чтобы улучшить изображение, чтобы оно выглядело более реальным, т. е. более имитированным, — с точки зрения самого изображения полная бессмыслица. И техника попадает здесь в свою же собственную ловушку.

В процессе фотографирования вещи связываются друг с другом посредством технической операции, соответствующей сцеплению и банальности. Кружение неизменных деталей объекта. Магическая эксцентричность детали. Это то, чем является изображение для другого изображения, фотография — для другой фотографии: частичная смежность при отсутствии диалектических отношений. Ни "видения мира", ни взгляда — преломление мира в его деталях одним и тем же способом.

Фотографическое изображение драматично. Драматично своим молчанием, своей неподвижностью. То, о чем мечтают и вещи, и мы сами, — это отнюдь не движение, но напряженная неподвижность. Сила неподвижного изображения, сила мифической оперы. Само кино культивирует миф замедленной проекции и приостановки изображения как кульминационный момент драматичности. И парадокс телевидения, несомненно, в том, что оно смогло возвратить тишине изображения всю ее прелесть.

Фотографическое изображение драматично еще и борьбой между волей субъекта, который желает навязать свой порядок и свое видение, и волей объекта, стремящегося одержать верх в своей прерывности и мимолетности. Лучше, если победа остается за объектом, так как изображение-фотография есть изображение фрактального мира, для которого не существует ни уравнивания, ни суммирования. Изображение-фотография есть нечто совершенно иное, нежели искусство живописи или кино, которое всегда стремится

(будь то посредством идеи, видения или движения) сделать набросок мира во всей его полноте.

Фотографирование предполагает не равнодушие субъекта по отношению к миру, но разъединение объектов друг с другом, случайную последовательность отдельных предметов и деталей, музыкальных синкоп и движения частиц. Фотография — это то, что более всего делает нас похожими на мух с их фасетными глазами и полетами по ломаной линии.

Может быть, желание фотографировать возникло у нас из-за того, что мир, созерцаемый в перспективе своей целостности, со стороны смысла, который в нем заключен, являет собой весьма обманчивое зрелище. Когда же, застав этот мир врасплох, мы наблюдаем его в деталях, он предстает перед нами с очевидной ясностью.

Воссоздать тайную форму Другого, исходя из его фрагментов (подобно тому, как это происходит при анаморфозе) и следуя его изломанным линиям и трещинам.

"ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ"

Странная гордость толкает нас не только на то, чтобы овладеть другим, но и на то, чтобы раскрыть его тайну и сделаться для него не просто чем-то дорогим, а фатальным. Сыграть в его жизни роль тайного советчика.

Итак, вы следуете по улице наугад за людьми, за всеми по очереди, быстро и ни на ком не останавливая своего выбора. При этом вы исходите из того, что жизнь людей — это случайный маршрут, обаяние которого в том, что он не имеет смысла и никуда не ведет. Вы существуете, лишь идя по их следам без их ведома. На самом же деле вы, сами того не зная, следуете своей собственной дорогой. Вы совершаете этот путь вовсе не для того, чтобы проникнуть в жизнь Другого или узнать, куда он идет или выследить какого-нибудь незнакомца. Вас прельщает мысль о том, что вы являетесь зеркалом этого Другого при том, что он не знает об этом. Вы получаете удовольствие, ощущая себя судьбой Другого, его двойником на этом пути, имеющем для него какой-то смысл, и этот смысл исчезает, как только этот Другой оказывается не один. Это происходит так, как если бы кто-то, идущий за ним, знал, что он идет в никуда. В каком-то смысле это означает лишить его цели: злой гений ловко проскальзывает между ним и его сутью. Это ощущение столь сильно, что люди часто чувствуют, что за ними идут следом; какая-то интуиция говорит им, что в их пространство проникло нечто, меняющее кривизну этого пространства.

Однажды госпожа С. решает придать этому эксперименту особую значимость. Она решает в течение всего своего пребывания в Венеции следовать за одним человеком, с которым едва знакома. В конце концов она находит отель, где он остановился. Она снимает комнату прямо напротив отеля с тем, чтобы наблюдать за передвижениями этого человека. Она повсюду фотографирует. Она ничего от него не ждет, она не хочет сблизиться с ним. Поскольку он может узнать ее, она меняет туалеты и превращается в блондинку. Но радости маскарада не волнуют ее. В течение двух недель ценой неимоверных усилий она старается не терять его из виду. Она опрашивает людей в лавках, куда он захаживает, ей известны все зрелища, которые он посещает. Она знает даже время его возвращения в Париж и собирается ждать его там, чтобы по прибытии в последний раз его сфотографировать.

Хотела ли она, чтобы он убил ее, чтобы, сочтя эту слежку невыносимой (в особенности потому, что она не рассчитывает ни на что и меньше всего — на сексуальную интрижку), совершил над ней насилие или же, чтобы, придя за ней, как Орфей за Эвридикой, заставил бы ее исчезнуть? Желала ли она, чтобы, благодаря повороту судьбы, он стал ее судьбой? В этой игре, как и во всякой другой, было свое основное правило: не должно было произойти ничего такого, что привело бы к какому-либо контакту или связи между ними. Тайна не должна быть раскрыта, в противном случае она рискует просто превратиться в банальную историю.

Разумеется, для самого объекта преследования в этой слежке есть нечто убийственное, шаг за шагом стирающее его следы. Ведь никто не может жить без собственных следов,

равно как и без собственной тени. Тайный советчик крадет у преследуемого его следы, и последний не может не чувствовать окружающего его колдовства. Советчик беспрестанно фотографирует его. Фотография здесь не имеет никакого значения ни для наблюдения, ни для архива. Она просто означает, что в таком-то часу в таком-то месте, при таком-то освещении был некто. И одновременно: не было никакого смысла в его пребывании в данном месте в данный момент; на самом деле не было никого, я следовала за ним и могу вас заверить, что там никого не было.

Интересно знать, что некто ведет двойную жизнь. Поскольку слежка сама по себе составляет двойную жизнь преследуемого, любое сколь угодно банальное существование может оказаться преображенным, а любая сколь угодно исключительная жизнь — опошленной. Но суть в том, что жизнь не может устоять перед влечением к странному аттрактору.

Следует говорить не "Другой существует, я встречался с ним", а "Другой существует, я шел за ним". Встреча, столкновение — это всегда что-то слишком реальное, слишком прямое, слишком бестактное. Встреча лишена тайны. Посмотрите, как люди, которые встречаются, не перестают узнавать друг друга, отвергая свою идентичность (подобно тому, как любящие друг друга люди постоянно говорят о своей любви). Так ли они уверены в себе? Является ли встреча доказательством существования Другого? Нет ничего, что было бы столь сомнительно. Напротив, Другой существует потому, что я следую за ним тайно, потому что не знаю его, не хочу знать, равно как не желаю, чтобы он знал меня. Он существует потому, что, не останавливая на нем выбор, я осуществляю над ним свое право фатального преследования. Не приближаясь к нему, я знаю его лучше, чем кто-либо. Я могу даже оставить его, как госпожа С. (в "Преследовании в Венеции"), будучи уверенным, что завтра в лабиринте города вновь по астральному стечению обстоятельств встречу его (поскольку город, как и время, — кривые линии, и правило игры непременно выведет партнеров на одну и ту же орбиту).

Единственный способ не встретить кого-то — это следовать за ним. (Этот принцип противоположен принципу лабиринта, где надо следовать за кем-то, чтобы не потерять его из виду; здесь надо следовать за кем-то, чтобы не повстречаться с ним.) В этом присутствует драматический момент, когда преследуемый, охваченный внезапным пониманием и осознанием того, что за ним кто-то идет, резко оборачивается. Тогда игра идет в обратном направлении, и преследователь оказывается загнанным в угол, так как бокового выхода нет. Этот неожиданный полуоборот, который совершает Другой, желая понять, что происходит и посылая все к черту, является, таким образом, единственной драматической ситуацией.

Такой поворот игры и произошел в Венеции. Человек, которого преследовала госпожа С., пришел к ней и спросил, чего она хочет. Но она не хочет ничего — ни авантюры в детективном жанре, ни сексуальных похождений. Это невыносимо и таит в себе риск убийства и смерти. Радикальное отличие всегда таит в себе смертельный риск. И вся тревога госпожи С. вращается вокруг этого неистового озарения: она хочет, чтобы ее разоблачили, и в то же время стремится этого избежать. "Я больше не могу следовать за ним повсюду. Он, должно быть, обеспокоен и постоянно спрашивает себя, не иду ли я сзади. Теперь он думает обо мне, но я буду следить за ним по-другому".

Госпожа С. могла бы встретиться с этим человеком, увидеть его, поговорить с ним. Но она тогда никогда бы не создала этой тайной формы существования Другого. Другой — это тот, чьей судьбой мы становимся, не сближаясь с ним в качестве собеседника, но окружая его подобно тени, подобно двойнику и изображению, примыкая к нему, чтобы стереть его следы и лишить его собственной тени. Другой — это совсем не тот, с кем вы общаетесь, это тот, за кем вы идете, и тот, кто идет за вами. Другой никогда не становится Другим естественно и непринужденно: его надо сделать таковым, соблазняя его и делая чуждым самому себе, даже уничтожая его при этом, если нет иного выхода. Но существуют более тонкие приемы, позволяющие добиться успеха.

Каждый жив благодаря той ловушке, которую расставляет Другому. И тот, и другой

живут в нескончаемом родстве, которое должно продлиться, покуда хватит сил. Каждый хочет, чтобы у него был Другой. Испытывая насущную потребность сделать существование Другого зависимым от своей милости и помутнение разума от желания, чтобы это существование продлилось как можно дольше и чтобы можно было вкусить его плоды. Противоположные логики лжи и правды сливаются в смертельном танце, который есть не что иное, как чистое наслаждение концом Другого, ибо, когда мы желаем Другого, мы всегда одновременно желаем положить ему конец… как можно позже. Единственный вопрос в том, чтобы знать, кто лучше выдержит удар, заняв пространство, речь, молчание, само нутро Другого, который, будучи востребованным в своем различии, перестает принадлежать себе. Противника не убивают: его толкают к тому, чтобы он желал своей символической смерти и стремился к ней… Мир — это ловушка с прекрасно функционирующим механизмом.

Отличие, чужеродность, которую невозможно понять, — таков секрет формы и своеобразия существования Другого.

"Здесь, разумеется, можно наблюдать, как индивидуумы зависят от окружающей среды, но, что особенно потрясает меня в плане психологическом и беспокоит в плане философском, это тот известный мне факт, что человека иногда создает другой человек, являющийся его вторым «я». Это происходит по воле случая каждое мгновение. Речь идет не о том, что данная среда навязывает мне те или иные условности или что человек является продуктом своего класса, как то полагает Маркс. Я хочу показать контакт человека с себе подобным, непосредственный, случайный и дикий характер этого контакта, показать, каким образом из этих случайных отношений рождается форма зачастую совершенно неожиданная и абсурдная… Разве вы не видите, что подобная форма есть нечто более могущественное, чем обычная социальная условность, что речь идет о некоем неподвластном элементе?" (Гомбрович. "Фердидурка")

ВИРУСНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Каждый является судьбой Другого, и, без сомнения, тайное предназначение каждого состоит в том, чтобы уничтожить Другого (или совратить его), прибегая при этом не к проклятию или какому-нибудь другому импульсу смерти, а к его собственному жизненному предназначению.

Шницлер в книге "Связи и одиночество": "Может быть, позволительно представлять развитие инфекционного заболевания в теле человека как историю некоей разновидности микробов, имеющую свои истоки, свой апогей и закат. Историю, подобную истории человеческого рода, имеющую, безусловно, совсем другой масштаб, но по идее аналогичную ей.

Эти микробы живут в крови, лимфе, тканях человеческого организма. Человек, которого настигла болезнь, является их ландшафтом, их миром, условием жизни, необходимым условием и смыслом существования этих мельчайших индивидуумов. У них возникает бессознательное, невольное стремление разрушить этот мир, и часто они действительно его разрушают. (Кто знает, может быть, различные индивидуумы в популяции микробов обладают различными талантами и волей, может, среди них существуют свои посредственности и гении?)

Нельзя ли в таком случае представить себе, что человечество — это тоже некая болезнь, развивающаяся в каком-то огромном организме, который мы не можем охватить как единое целое и в котором оно обретает необходимые условия и смысл своего существования? Нельзя ли представить себе, что человечество стремится к разрушению этого организма и вынуждено совершать это разрушение по мере своего развития, в точности, как микроб жаждет уничтожения человеческого индивидуума, 'страдающего заболеванием'? Да будет нам позволено продолжить наши размышления и спросить себя, не является ли миссией всякого живого сообщества, будь то микробов или людей, постепенное разрушение мира, выходящего за их пределы независимо от того, представлен ли этот мир

одним человеком или целой Вселенной.

Даже если бы это предположение было близко к истине, наше воображение не позволило бы нам найти ему применение, поскольку наш разум способен постичь лишь движение вниз, но не вверх по склону Мы обладаем относительными знаниями, распространяющимися лишь на то, что ниже нас, и остаемся на уровне предчувствия, когда речь заходит о чем-то высшем. В этом смысле, быть может, нам будет позволено интерпретировать историю человечества как вечный бой с Божественным, которое, вопреки своему сопротивлению, мало-помалу и по необходимости разрушается человеческой природой. И, по той же схеме рассуждений, да будет нам позволено предположить, что превосходящий нас элемент, который мы представляем или ощущаем как Божественное, в свою очередь оказывается превзойденным другим, высшим по отношению к нему элементом, и так далее, до бесконечности".

Между породой микробов и породой людей существует полный симбиоз и радикальное несходство. Нельзя сказать, что Другой, который есть у человека, — микроб: человек и микроб по самой своей сути не могут быть противопоставлены друг другу, они никогда не сталкиваются, но лишь связываются друг с другом, и эта связь является предназначением. Ни человек, ни микроб не могут воспринимать это иначе. Здесь нет демаркационной линии, поскольку эта связь отражается в бесконечности. Или же нужно определенно сказать, что здесь присутствует отличие: это Другой во всей своей неоспоримости, это микроб в своей радикальной нечеловечности, тот, о котором мы не знаем ничего и который не имеет с нами даже никаких различий. Скрытая, все искажающая форма, с которой невозможно ни договориться, ни примириться. И в то же время мы живем с ней одной жизнью, и как субстанция она умрет одновременно с нами; ее судьба та же, что и наша. Это похоже на историю о черве и водоросли. Червь подкармливается водорослью, без которой он не может переваривать пищу. Все идет хорошо до того дня, когда червь задумывает сожрать водоросль: он ее съедает и умирает (не будучи в состоянии даже усвоить ее, поскольку она уже не может поспособствовать его пищеварению).

ОТКЛОНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Секрет Другого состоит в том, что мне никогда не представляется возможность быть самим собой, и я существую лишь благодаря фатальному отклонению того, что приходит извне. В притче Шницлера человек живет жизнью, которую создает некая разновидность микробов, преследующая его и стремящаяся его изничтожить: они чужды друг другу, но судьба у них одна и та же. В главе "Преследование в Венеции" госпожа С. не знает ни кто она есть, ни куда идет: она следует за идущим и, сама того не ведая, разделяет его тайну. Итак, существование всегда обретает форму не иначе, как путем отклонения смысла или бессмысленности, отклонения чего-либо иного. Мы не обладаем собственной волей, и Другой не есть то, с чем мы сталкиваемся по собственной воле. Он являет собой вторжение чего-то приходящего извне; это совращение чуждого и его выбор.

Итак, тайна философии, возможно, состоит не в познании самого себя, не в осознании направления собственного движения, не в размышлениях о самом себе или вере в себя, но в поисках пути Другого, в помыслах того, о чем помышляет Другой, в вере в тех, кто верит. Прецессия всех неясных и недоступных пониманию решений, пришедших извне, является маловажной; главное — принять чуждую форму любого события, любого объекта, любого случайного существа, поскольку так или иначе вы никогда не узнаете, кто вы есть. Сегодня, когда люди потеряли свою собственную тень, необходимо, чтобы за ними кто-то следовал. Сегодня, когда каждый теряет свои следы, возникает насущная необходимость, чтобы кто-то шел по этим следам, даже если местами он стирает их и вы исчезаете. Это игра формы исчезновения, предполагающей соучастие и символическое обязательство, загадочной формы связи и разрыва.

Мы живем в культурной среде, стремящейся взвалить на каждого из нас

ответственность за собственную жизнь. Моральная ответственность, унаследованная от христианской традиции, оказалась более четко обозначенной за счет современного механизма информации и коммуникации, при этом она стремится заставить каждого из нас обеспечить всю совокупность условий своего существования. Это равносильно экстрадиции Другого, который посреди этого программного управления существованием становится совершенно ненужным, ибо все способствует автаркии индивидуальной клетки.

Но ведь это абсурдно. Никто не в состоянии вынести ответственность за свою жизнь. Эта идея, одновременно и христианская и современная, является тщетной и вызывающей. Более того, это утопия, не имеющая оснований. Для ее осуществления надо, чтобы индивидуум превратился в раба собственной идентичности, в раба своей воли, ответственности, желаний. Индивидуум должен бы был начать контролировать все свои круговые движения, как и те движения, что вершатся в мире и пересекаются в его генах, нервах, мыслях. Бремя неслыханное.

Человеку гораздо естественнее вручить свою участь, желания, волю кому-то другому. Циркуляция ответственности, отклонение желаний, вечное перемещение форм.

Моя жизнь, коль скоро она являет собой игру Другого, становится непостижимой для самой себя. Моя воля, коль скоро она передается Другому, становится тайной для самой себя.

Реальность нашего наслаждения, наше волеизъявление всегда порождает некоторое сомнение. Парадокс в том, что мы никогда не бываем во всем этом уверены. Представляется, что наслаждение Другого не столь случайно. Находясь ближе к собственному наслаждению, мы с большей вероятностью сомневаемся в нем. Тезис, настаивающий на том, что каждый должен более охотно доверять своим собственным воззрениям, недооценивает противоположную тенденцию, согласно которой мы стремимся «подвесить» наше мнение рядом с мнением других людей, имеющих на него гораздо больше прав, чем мы. (Это напоминает китайскую эротику, когда один партнер откладывает свое собственное наслаждение с тем, чтобы обеспечить наслаждение другого и таким способом приобрести энергию и более глубокое познание.)

Гипотеза существования Другого, возможно, всего лишь последствие этого радикального сомнения в отношении наших желаний.

Если совращение основано на интуитивном представлении о чем-то таком, что в Другом остается вечной тайной для него самого, на том, чего я никогда о нем не узнаю и что в то же время тайно притягивает меня, тогда для совращения не остается слишком просторного поля деятельности, так как сегодня у Другого нет ничего, что не было бы для него явным. Каждому чертовски хорошо известно все, что касается его самого и его собственных желаний. Все настолько просто, что даже тот, кто пытается предстать в замаскированном виде, превращается в посмешище. Но в таком случае в чем же «покер» совращения? Где же иллюзия желания, если не считать теоретической иллюзии психоанализа и политической иллюзии революций?

Мы уже не способны верить, но верим в того, кто верит. Мы уже не способны любить и любим лишь того, кто любит. Мы не знаем, чего хотим, и хотим лишь того, чего хочет кто-то. Происходит нечто вроде всеобщего уклонения, в процессе которого желания, способности, знания оказываются не то чтобы заброшенными, но отставленными для второй инстанции. Во всяком случае на экранах, на фотографиях, в видеофильмах и репортажах мы видим лишь то, что до нас видели другие. Мы уже не способны видеть ничего, кроме того, что уже было увидено. Машины, которым мы поручаем это, берут на себя роль зрителя, подобно тому, как вскоре мы предоставим возможность компьютерам принимать решения вместо нас. Все наши функции, даже органические и сенсорные, заменены сателлитом. Это имеет отношение и к физическому отрыву от наслаждения: как желание не является более потребностью, так и наслаждение не приносит удовлетворения. Коль скоро желание и наслаждение опираются на потребность и удовлетворение, приходится говорить о стратегии второй инстанции.

Так или иначе, лучше, чтобы вас контролировал кто-то другой, нежели вы сами. Лучше, чтобы вас угнетал, эксплуатировал, преследовал, манипулировал вами кто-то другой, нежели вы сами.

В этом смысле всякое освободительное или эмансипационное движение, нацеленное на увеличение автономии, то есть на углубленное внедрение всех форм контроля и принуждения под лозунгом свободы, является формой регрессивной. Что бы ни представляло собой приходящее к нам извне, будь это даже худшая эксплуатация, сам факт, что оно приходит извне, является позитивным фактором. Такова привилегия вторжения чужого, с такой горечью воспринимаемая людьми, которые перестают принадлежать самим себе; Другой становится при этом кровным врагом, ибо хранит в себе отчужденную часть нас самих. Отсюда и появление этой противоположной наивной теории отвержения чужого, основанной на том, что субъект вновь овладевает своей волей и своими желаниями. В свете этой теории хорошо все, что происходит с субъектом по его собственной воле и в связи с его собственной сущностью, ибо все это подлинно, в то время как все приходящее извне истолковывается, как нечто фальшивое, поскольку оно ускользает из сферы свободы субъекта.

Но мы должны настаивать на точке зрения, противоположной данной, показывая тем самым всю глубину парадокса. Точно также, как человеку необходим контроль со стороны кого-то другого, лучше, чтобы и его радости и горести были связаны с кем-то другим, нежели с ним самим. В нашей жизни всегда лучше зависеть от чего-то, что не зависит от нас. Эта гипотеза освобождает меня от какой бы то ни было зависимости. Мне нет нужды подчиняться чему-то от меня не зависящему, в том числе и моему собственному существованию. Я освобожден от своего собственного рождения, и в том же смысле я могу быть свободен и от смерти. Никогда не существовало никакой другой истинной свободы, кроме этой. Именно из этого и рождается какая бы то ни было игра, цель, страсть, обольщение — из того, что чуждо нам и в то же время обладает какой-то властью над нами. Из того, что является Другим и что нам чрезвычайно важно обольстить.

Эта этика права передачи заключает в себе философию изворотливости. Изворотливость, эта всеобщая уловка, состоит в том, что мы живем не за счет нашей собственной энергии или нашей собственной воли, а благодаря энергии, которую мы ловко крадем у мира, у тех, кого мы любим и ненавидим. Источник нашего существования — это энергия незаконная, украденная, совращенная. И Другой также существует лишь благодаря этому непосредственному и ловкому присвоению, обольщению и праву передачи. Полагаться на кого-то другого в смысле желаний, веры, любви, решений — это вовсе не означает отречения от самого себя, это просто стратегия: делая другого своей судьбой, вы извлекаете из этого самую утонченную энергию. Предаваясь какому-то знаку или событию, связанному с жизненными хлопотами, вы присваиваете себе его форму.

Эта стратегия отнюдь не безобидна. И именно она присуща детям. Если взрослые заставляют детей считать себя взрослыми, то дети, в свою очередь, позволяют взрослым считать себя детьми. Из этих двух стратегий последняя является наиболее тонкой, так как если взрослые верят в то, что они взрослые, то дети отнюдь не склонны считать себя детьми. Будучи детьми, они попросту не верят в это. Они проплывают под флагом детства, словно под флагом снисходительности. Их хитрость и обольстительность безграничны. И в этом смысле они сродни разновидности микробов, описанной Шницлером, являя собой некую иную породу, жизненные силы и развитие которой подразумевают разрушение окружающего их высшего мира — мира взрослых. Дети движутся внутри пространства взрослых подобно какой-то изворотливой и убийственной субстанции. И в этом смысле ребенок — это Другой, сопровождающий взрослого, являющийся его судьбой и наиболее утонченной врожденной формой, которая неумолимо ведет к ниспровержению взрослого, продвигаясь в его мире с особым изяществом, присущим тому, что не имеет истинной воли.

То же самое можно сказать, когда речь заходит о массах. Они тоже проплывают под своим названием, словно под стягом снисходительности. Взращенные во мраке политики как

некая странная, враждебная, непонятная, почти биологическая разновидность, массы несут в себе спонтанный яд, разрушительный для любого порядка. Массы — это спутник власти, слепой исполнитель главной роли, неотступно ступающий по политическому лабиринту, некто, кого власти не в состоянии ни распознать, ни назвать, ни указать. И если массы обладают этой изворотливой способностью вершить изменения, то это потому, что они пользуются бессознательной стратегией, позволяющей желать, позволяющей верить. Они не отваживаются верить в свои собственные качества: коль скоро им возбраняются субъективность и слово, они никогда не проходили фазу политического зеркала. Этим они отличаются от какого бы то ни было политического класса, члены которого верят или похваляются своей верой в собственное превосходство. Их цинизм всегда будет несопоставим с объективным цинизмом масс в том, что касается их собственной сущности, которой они, впрочем, не обладают.

Это заблаговременно обеспечивает массе продолжительное существование, так как другие верят, что она лишена рассудка, и она позволяет им верить в это. Сама женственность исходит из этой похотливой иронии. Женщины дозволяют мужчинам верить, что они мужчины, тогда как сами они втайне не считают себя женщинами (подобно тому, как дети не считают себя детьми). Тот, кто дозволяет верить, всегда выше тех, кто верит или принуждает верить. Сексуальная и политическая ловушка, предназначенная для женщины, в том и состояла, чтобы женщина поверила, что она женщина: это влечет за собой победу идеологии женственности, права, статуса, идеи, победу, сопровождающуюся верой в собственную сущность. Ныне «освобожденные», женщины желают быть женщинами, и высшая ирония, существовавшая в обществе, оказывается утраченной. Это злоключение не щадит никого: так, мужчины, полагая, что они свободны, впали в добровольное рабство.

"…Человек, которого я хочу описать, создан извне; по своей сути он не является подлинным, ибо не имеет возможности быть самим собой и определяется той формой, которая возникает среди людей. Он, безусловно, вечно играет роль, но делает это совершенно естественно, так как его мастерство — врожденное, оно представляет собой одно из характерных свойств его существования как человека. Быть человеком — это значит быть актером, изображать человека, поступать как человек, не будучи таковым по своей сути, это значит рассуждать о человечестве. Речь не идет о том, чтобы посоветовать этому человеку сбросить маску (когда под этой маской пет никакого лица); все, что можно попросить у него, — это осознать искусственность своего состояния и признать его.

Если я приговорен к искусственному состоянию… Если мне никогда не будет дано быть самим собой…" (Гомбрович)

Имитация человека и его отказ от своей сущности предполагают великую аффектацию. Вся наша культура, воспевающая правду и искренность, осуждает аффектацию — этот изощренный способ устраивать свою судьбу на основе внешних знаков, которые нельзя считать «подлинными». Аффектация — это то необычное состояние души, при котором, как говорит Гомбрович, человек осознает искусственность своего положения и которое проявляется в стремлении создать себе нечто вроде искусственного двойника, проникнуть в его искусственную тень, создать искусственный автомат своей сущности и с помощью знаков уйти, подобно Другому, во внешний мир. Разве все наши автоматы, искусственные машины, технические устройства не являются проявлением великой аффектации?

Когда Энди Вархоль заявляет: "Я хочу быть машиной", он выражает формулу максимального снобизма. Подключив свою особую машину к системе машин и изощренных механизмов и проявляя при этом лишь чуть больше мастерства имитации и искусственности, он расстраивает хитросплетенные замыслы. Там, где обычная машина производит объект, Вархоль производит конечную, тайную цель объекта, состоящую в том, чтобы быть воспроизведенным. Он воспроизводит этот объект в его сверхконечной цели, в его тайном отсутствии смысла, исходящего из самого процесса объектальности. Там, где другие ищут дополнительную духовную опору, он ищет дополнительные машины, там, где другие ищут дополнительный смысл, он занят поисками дополнительной искусственности. Постепенно он

оказывается все более и более вовлеченным в этот процесс и приближается к инкарнации машины посредством воспроизведения банальной точности мира. Все в меньшей и меньшей степени подвластный желаниям, он все более и более приближается к небытию, свойственному объекту.

ОБЪЕКТ КАК СТРАННЫЙ АТТРАКТОР

В конечном итоге образы всего того, что нам чуждо, воплощаются в единственном образе — в образе Объекта. Неумолимость и ирредентизм объекта — единственное, что остается.

Даже на горизонте науки Объект предстает как все более неуловимый, неразделимый внутри и тем самым недоступный анализу, извечно переменчивый, обратимый, ироничный, обманчивый, забавляющийся всевозможными манипуляциями. Субъект безнадежно пытается следовать за ним, принося в жертву постулаты науки, но Объект нельзя постигнуть даже ценой жертвы научного разума. Он являет собой неразрешимую загадку, поскольку не является самим собой и не в состоянии постичь самого себя. Он создает препятствия для какого-либо понимания. Его сила и самостоятельность, в отличие от нашей, состоит в отчужденности от собственной сути. Первое движение, совершенное цивилизацией, вероятно, заключалось в том, чтобы протянуть ему зеркало, но в этом зеркале он отражается только внешне, в действительности же он — сам по себе зеркало, то самое зеркало, глядя в которое субъект хватается за собственные иллюзии.

Но в таком случае где же Другой, где спутник науки? Где ее объект? Она утратила своего собеседника. Подобно «дикарям», он представляется отнюдь не склонным к диалогу. Кажется, это не очень-то хороший объект, он не уважает «различия» и стремится тайно ускользнуть от попыток научной евангелизации — рациональной объективации. Он словно мстит за то, что его «поняли», мстит, в свою очередь разрушая обманным путем основы научного здания. Эта дьявольская гонка преследования Объекта и субъекта науки имеет свое продолжение.

Только Объект можно рассматривать как странный аттрактор. Субъект же более таковым не является. Его слишком хорошо знают, как и сам он знает себя. Именно Объект предстает, как нечто захватывающее, являя собой горизонт моего исчезновения. Он — то, чем теория может стать для реальности: не отражением, но вызовом и странным аттрактором. Таковы устремления, диктуемые присутствием чуждого.

Есть два способа, позволяющих пройти мимо отчуждения: либо отказ от самоотчуждения и обретение самого себя заново, что довольно скучно и в наши дни не подает больших надежд, либо же устремление к другому полюсу, к полюсу Другого в его абсолютном проявлении, к полюсу радикальной Экзотики. Альтернатива находится где-то в экспоненциальном пространстве, определенном полной эксцентричностью. Не следует ограничиваться отчуждением, нужно двигаться к тому, что еще более другое, чем сам Другой, — к радикальному отчуждению.

Двойственная форма отчуждения предполагает необратимую метаморфозу внешнего облика и полное преображение. Со мной не произошло каких-либо изменений. Я стал другим окончательно и бесповоротно. Я теперь покоряюсь не закону желания, но полной искусственности правила. Я утерял всякий след желаний, которые были мне свойственны. Я подчиняюсь лишь чему-то нечеловеческому, что не зафиксировано внутри меня, но присутствует в объективных и произвольных случайностях знаков мира. Подобно тому, как высшее безразличие мира по отношению к нам порождает то, что при катастрофах принято считать фатальностью, фатальность нашего совращения является проявлением высшей отчужденности Другого. Той самой отчужденности, которая вторгается в нашу жизнь в виде жеста, лица, формы, слова, пророческого сна, меткого высказывания, предмета, женщины, пустыни во всей ее несомненной очевидности.

Когда появляется Другой, он разом овладевает всем тем, что нам никогда не дано

узнать. Он — вместилище нашей тайны, всего того, что живет в нас, но не может быть причислено к истине. Он не является вместилищем ни нашего подобия, ни нашего различия, как при отчуждении, ни идеальным воплощением того, что мы есть, ни скрытым идеалом того, чего нам недостает, — он вместилище того, что ускользает от нас, место, через которое мы ускользаем сами от себя. Этот Другой — не воплощение желания или отчуждения; он — воплощение помутнения разума, затмения, появления и исчезновения, мерцания существа, если можно так сказать, но так говорить не нужно, ибо правило совращения есть тайна и тайна есть суть основного правила.

Совращению ведомо, что понятие Другого никогда невозможно объяснить, прибегая к словам, выражающим желание; ведомо, что субъект ошибается, стремясь к тому, что он любит; ведомо, что каждое высказывание ошибочно в своей безнадежной попытке выразить то, что оно стремится выразить. Тайна всегда принадлежит искусственному. Это и вынуждает искать Другого не в ужасающей иллюзии диалога, но устремляться в своих поисках в иные места, следовать за ним подобно его тени, очерчивая вокруг него некую линию. Навсегда отказавшись быть самим собой, но не став при этом окончательно чуждым самому себе, оказаться вневписанным в образ Другого, в эту странную форму, пришедшую извне, в это тайное обличие, повелевающее событийными процессами и необычайными экзистенциями.

Другой — это то, что позволяет мне не повторяться до бесконечности.